

**ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

● Вклад кооперативов по производству товаров народного потребления и оказанию услуг населению становится все более ощутимым. Но новая форма трудовой деятельности пока нуждается в поддержке. Именно этим целям служит договор государственного страхования принадлежащего им имущества.

● Своевременно заключенный договор страхования позволяет не только возместить убытки, причиненные кооперативам различными стихийными бедствиями и непредвиденными обстоятельствами, но и обеспечить финансовую устойчивость начатого дела.

● Страхование включает широкий перечень рисков: гибель или повреждение имущества кооператива в результате пожара, взрыва, аварии, хищения и других. В зависимости от выбранных страховых рисков определяются страховые платежи кооператива по договору. Они составляют 40—60 коп. со 100 рублей страховой суммы в год.

● Ознакомиться с условиями страхования имущества кооперативов и заключить договор страхования можно в районной (городской) инспекции госстраха.

**Главное управление государственного  
страхования СССР**



№ 35

1988



**Борис ЕФИМОВ**

**СУДЬБА ЖУРНАЛИСТА**

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

Борис ЕФИМОВ

## СУДЬБА ЖУРНАЛИСТА

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1988

*Борис ЕФИМОВ*

*ЕФИМОВ Борис Ефимович родился в 1900 году в Киеве. С 1919 года — художник в области политической сатиры. Участник гражданской и Великой Отечественной войн. С 1922 года печатается в «Правде», «Известиях», «Крокодиле», с 1923 года — в «Огоньке», других газетах и журналах. Автор многочисленных агитационных плакатов, а также статей, очерков и книг.*

*Многолетняя деятельность Б. Е. Ефимова отмечена двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», тремя Государственными премиями СССР, почетным званием народный художник СССР. В 1955 году избран членом-корреспондентом, в 1975-м — действительным членом Академии художеств СССР.*

В апреле 1937 года специальный корреспондент газеты «Правда» Михаил Кольцов был на короткое время вызван в Москву из Испании. К этому моменту прошло около десяти месяцев с начала фашистского мятежа. Все эти месяцы, недели и дни миллионы читателей «Правды» с захватывающим интересом и волнением читали кольцовские корреспонденции из Барселоны, Мадрида, Толедо, Гвадалахары, Бильбао, видели его глазами и переживали его чувствами мужественную и неравную борьбу защитников республики против наглого, вооруженного до зубов испано-итало-германского фашизма.

Спецкор «Правды» поспевал всюду. Носился по фронтовым дорогам, появлялся в окопах, командных пунктах, штабах, вникал в работу организаций обороны, военных и партийных комитетов, министерств. Сообщал обо всем оперативно, достоверно, ярко. Во всем блеске развернулись тогда незаурядные его журналистские качества — инициатива, находчивость, неутомимость, бесстрашие. А веселый его нрав, остроумие снискали ему и там много друзей. Работе Кольцова в Испании отдавали впоследствии должное участники испанской войны, наши виднейшие военные деятели, тепло вспоминаявшие его: Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, Н. Г. Кузнецов, П. И. Батов и многие другие.

В романе «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй так пишет о некоем русском журналисте с легко расшифровываемой фамилией Карков: «...Карков, приехавший сюда от «Правды» и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании». В том же романе от имени главного его героя — американского писателя Роберта Джордана, во многих оценках которого слышен голос самого Хемингуэя, говорится: «...А Карков понравился. Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать... Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие... Ему никогда не надоедало думать о Каркове».

В книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург вспоминает: «Трудно себе представить первый год испанской войны без Кольцова... Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником... Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум

становился для него самого обузой, он быстро разбирался в обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями».

К этим словам Ильи Григорьевича следует добавить, что, насколько я знаю, функций политического советника Кольцову никто не поручал. Он ехал в Испанию только как журналист, корреспондент «Правды». Но Кольцов не был бы Кольцовым, если бы в той сложной, бурной обстановке остался в рамках чисто газетной работы. Не в его это было характере. И спецкор «Правды» закономерно и естественно пришел к более масштабной и ответственной деятельности.

В этом, собственно говоря, не было ничего неожиданного или удивительного: ведь ко времени событий в Испании 1936 года за плечами Кольцова уже был огромный боевой опыт журналиста, политработника, общественного деятеля, организатора. Его журналистские «университеты» начались еще в 1917 году в Петрограде, где он был очевидцем и участником незабываемых революционных событий Февраля и Октября. Прохождение этих «университетов» он продолжал в годы гражданской войны в Финляндии и на Украине, а затем снова в Петрограде.

...Март 1921 года. По льду Финского залива вместе с частями советских войск, идущих плечом к плечу с делегатами X партийного съезда на штурм мятежного Кронштадта, шагает и молодой фельетонист петроградской «Красной газеты». На него возложено непростое боевое задание:

«В морозной мгле, при свечке, колеблемой ледяным вихрем, в ораниенбаумском домишке без крыши, сорванной снарядом, под гром десятидюймовых чудовищ верстали номер «Красного Кронштадта», чтобы через два часа выбросить с первыми ротами в захваченную крепость».

Так оно и произошло. И в только что отпечатанной газете, носившей подзаголовок «Издание Военного Командования Южной Группы Финского залива», непосредственно под приказом № 1 вернувшейся в Кронштадт Советской власти, помещен фельетон-репортаж «Утро в Кронштадте», заканчивающийся так:

«На днях, когда Кронштадтом еще владели белогвардейцы и их господа из английской разведки, я напечатал в «Красной газете» открытое письмо генералу Козловскому, назначая ему скорое свидание в освобожденном Кронштадте. Мы прибыли на место встречи, но его превосходительства, увы, здесь не оказалось. Куда вы скрылись, почтенный генерал?»

В этой маленькой саркастической заметке двадцатитрехлетнего Кольцова уже заложены, как в зерне, боевая оперативность газетчика, азарт журналиста, талант литератора, сатирический задор фельетониста — все те замечательные качества, которые потом так мощно и ярко «проросли» в творчестве Кольцова-правдиста.

На страницах «Правды» Кольцов впервые появился в 1920 году (фельетон «Махно»), а постоянным ее сотрудником стал после переезда в

Москву в 1921 году. Сразу обратил на себя внимание его фельетон «Москва-матушка» с его необычным, торжественно-напевным, каким-то прямо былинным началом:

«Высоко на холмах, в снеговом убранстве, в ожерелье огней и знамен стоит, далеко видна сквозь пургу, Красная Москва.

Молодая, крепкая, новая».

Писательница Софья Виноградская, работавшая в те годы в секретариате «Правды» помощником Марии Ильиничны Ульяновой, вспоминала:

«...То был фельетон о старой, патриархальной, купецко-москворецкой Москве. Что случилось после революции с лабазницей, носившей салон на вате? Как пережила старуха Октябрь? Как приспособилась матушка к пролетарской власти?

Все было отлично в небольшом с отличным вкусом фельетоне: очарование нового таланта, прелесть юмора, великолепие говора, который имел в виду Пушкин, когда упоминал о языке московских просвирен.

Фельетон Кольцова с его концовкой «Электрифицируем старуху!» сразу стал крылатым. Вовсю хохотала редакторская комната, когда, подписывая в набор, читали (как то водилось иногда в «Правде») фельетон вслух. Сразу стало ходячим кольцовское: «Было в Москве сорок сороков главков, прибавилось к ним сорок сороков Главков», «Кланялись главкам, поклонимся и Главкам».

...Был ранний полдень и было не по-редакционному тихо (самое лучшее для посетителей время!). Тут и вошел в кабинет автор напечатанного накануне фельетона. Секретарь «Правды» встретила его милым кивком головы:

— Понравилось. Очень... Очень...

— Весьма. Всем...— добавила Мария Ильинична и располагающе взглянула своими несколько тяжелыми, обычно напряженными глазами.

И это многозначительное «всем» означало, что «Москва-матушка» понравилась не только ТУТ в редакции, но еще кое-где, о чем не станут с первого раза, вот так, вдруг, говорить...

Кольцов уходил польщенный. Он был уже у двери, когда Мария Ильинична, проводив его кивком, пригласила:

— Просим. Заходить. Писать. Почаще.

— Рады стараться на ниве «Правды!» — автор шутливо взял под козырек и мягко шагнул из кабинета.

Так начался в «Правде» Михаил Кольцов.

И «Правда» стала для него родным домом, политической школой и, главное, высокой, всенародной трибуной, партийной и патриотической.

С того счастливого для молодого Кольцова дня, когда он «начался в «Правде», и до той роковой декабрьской ночи, когда он навсегда из нее ушел, пролетело семнадцать лет. И все эти годы непрестанно, временами ежедневно, к миллионам читателей была обращена страстная,

берущая за живое, то патетическая, то лирическая, то высмеивающая, то бичующая кольцовская публицистика.

Газетный «однопольчанин» Кольцова, старейший советский журналист Д. Заславский вспоминал:

«Во всей его фигуре, невысокой и подвижной, было изящество. Годы не старили его. И в легких движениях, и в жестах, и в выражении лица оставалось что-то мило мальчишеское и озорное. Он всегда готов был на смелые приключения, на неожиданные выдумки. Он был по-этом своего призвания — журналистики».

Кольцов неизменно на самых важных и решающих участках событий. Его, как магнитом, притягивают «горячие точки» происходящего в стране и за ее пределами. Он всегда в разъездах. Во время гражданской войны — на фронтах, в годы первых пятилеток — на заводах, электростанциях, стройках, в колхозах, любых местах, где можно увидеть что-то важное, интересное, злободневное. Он как бы под постоянным током журналистского напряжения. Он радуется успехам в борьбе нового со старым и одновременно бьет без устали оружием фельетона по косности, приспособленчеству, бюрократизму, чванству, тупости.

Публицистика Кольцова — это зримая, пульсирующая летопись эпохи. Вместе с ним мы присутствуем на торжественном заседании в Большом театре, когда на огромной карте яркими электрическими огоньками вспыхивает ленинский план ГОЭЛРО; вместе с ним мы становимся свидетелями того, как на подмосковных торфяных болотах встает первенец советской электрификации — Шатура; вместе с Кольцовым мы в горячей суতোлке крестьянской ярмарки в Рязани, откуда переносимся на строительство бумажной фабрики в Балахне, а потом в обувную мастерскую Болшевской трудовой коммуны бывших беспризорников или на Верхне-Середский текстильный комбинат, где впервые в стране осуществляется переход на 7-часовой рабочий день. Где мы окажемся вместе с Кольцовым завтра, в каком далеком или близком уголке планеты — этого никто из нас, читателей, не знает, как не знает этого и сам Кольцов. Ведь ему до всего есть дело, он считает своим долгом быть в гуще событий, все увидеть самому, быть, по его собственному выражению, «честным глазом и ухом читателя». Вчера в тряской телеге по пыльному проселку Рязанщины, сегодня в комфортабельном экспрессе Париж — Женева на Международную конференцию по разоружению, завтра — в разболтанной автомашине по калмыцкой степи, послезавтра в самолете Москва — Лондон на заседание Палаты общин, где ожидается падение правительства — из любой поездки Кольцов возвращается с ворохом интересных наблюдений, зарисовок, выводов, которыми немедленно делится с читателями.

Кольцову, как истинному журналисту, интересно решительно все. Но особенно ему по вкусу ситуации острые, драматические, требующие поступков смелых и рискованных, решительных и опасных.

Таким он был в восемнадцатом году на Украине, когда дерзко проник в расположение контрреволюционных банд под Киевом, чтобы написать очерк «Петлюровщина», таким он был и в 1921-м под Кронштадтом, таким он был и когда, увлекшись крылатой романтикой авиации, первым из советских журналистов испытал (и описал) ощущения так называемой «мертвой петли», а потом вызвался принять участие в перелете через... Черное море. Это, пожалуй, звучит смешно сегодня, когда могучие воздушные лайнеры шутя пересекают гигантские пространства океанов. Но в ту пору, когда советское моторо- и самолетостроение только-только выходило из младенческого возраста, прыжок на двухместном сухопутном самолете по маршруту Севастополь — Анкара был своего рода сенсационным событием, и кольцовский очерк «Перелет» читатели «Правды» восприняли с огромным интересом.

Незаурядную смелость проявил Кольцов и в других своих журналистских инициативах. Ни с кем не «согласовывая» своих замыслов, не получая никакого вышестоящего «добро», он задумал написать о государствах, где в то время у власти стояли контрреволюционные фашистские и полуфашистские режимы, куда наглухо был закрыт доступ советским людям, нелегальное появление которых грозило жестокой расправой.

С чужим паспортом он появляется в одной из таких стран — скандинавской белым террором адмирала Хорти Венгрии и рассказывает о своих впечатлениях в очерке «Что могло быть» (1927). Вот что впоследствии говорил выдающийся венгерский коммунист, один из руководителей Венгерской советской республики 1919 года, Бела Кун:

«Побывав в Венгрии только несколько дней, Кольцов, тем не менее, сумел показать не только внешнюю картину жизни этой страны, но дать краткую историю всей венгерской революции. Дух этого фельетона был духом венгерского рабочего класса. Это говорит о том, что Кольцов не просто фельетонист и прекрасный фельетонист, а большевик-интернационалист, который в своих произведениях может отобразить и жизнь своей родной страны, и революционную борьбу международного пролетариата».

А вот рассказ знаменитого немецкого революционера Макса Гельца, касающийся другого примечательного эпизода журналистской работы Кольцова:

«...Мы, узники Зонненбургской тюрьмы, правда, слышали о русском правдисте, о «неистовом» Михаиле Кольцове, но никто из нас не знал его лично, и нам не могло даже прийти в голову, чтобы журналист из Советского Союза проник внутрь железного кольца нашей изоляции».

Тюремная администрация, директор тюрьмы страдали прямо-таки неопишемым страхом пред всем, что идет из Советского Союза. Но вот однажды Кольцов предстал передо мной в кабинете директора Зонненбургской тюрьмы.

Находчивость товарища Кольцова сумела преодолеть бдительность



тюремной администрации. Если бы только директор Зонненбургской тюрьмы знал, кто со мной разговаривал в его кабинете...

Еще неделями и месяцами после этого события мы разговаривали в тюрьме об удаче «неистового журналиста». Эта удача принесла огромную радость всем нам и значительно отвлекла нас от ужасного одиночества тюремного заключения. В Москве я с волнением припомнил все обстоятельства этой поразительной встречи, когда снова пожал руку товарищу Кольцову...».

Сложность и многоплановость неугомонной деятельности Кольцова нередко приводили к тому, что различные его дела, замыслы и затеи — журналистские, редакторские, издательские, общественные — не могли не совпадать во времени, теснили друг друга по срокам, сталкивались, пересекались, требовали неотложного и одновременного приложения энергии, внимания, находчивости и не в последнюю очередь физических сил. А он, надо сказать, отнюдь не отличался богатырским сложением и здоровьем. В частности, всю жизнь его изводила мигрень — систематически нападавшие на него свирепые головные боли. Напряжением воли преодолевая эту напасть, он продолжал работать, писать, выступать, разъезжать. Так было и в ту пору в Париже. Вот характерный пример кольцовского стиля: будучи каждый день и каждый час погружен в корреспондентскую и пропагандистскую круговерть, связанную с Лейпцигским процессом, он не упускает из виду никакие другие острые ситуации международных событий. Это относится, в частности, к положению в Саарской области — небольшим, но сказочно богатым угольными запасами клочке территории между Германией и Францией, привлекающим в то время особое внимание возникшим там, по выражению Кольцова, «сложным национально-классово-политическим переплетом».

В Сааре предстоял плебисцит, который должен был решить судьбу области: оставаться ли ей и дальше под международным управлением Лиги Наций или войти в состав гитлеровского рейха. И вот Кольцов срывается на несколько дней из Парижа, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в спорной области, как идет подготовка к всенародному голосованию.

В накаленной и зловещей атмосфере Кольцов и сопровождающая его немецкая писательница-антифашистка Мария Остен колесят по городам и селеньям Саара. Им доводится заехать и в деревушку с труднопроизносимым названием Оберлинксвайлер и посетить дом рабочего-коммуниста Ганса Лосте.

В большой и дружной семье Лосте внимание Кольцова привлекает десятилетний Губерт, смысленный и бойкий паренек-пионер. Отвечая на вопросы гостей, Губерт охотно и очень толково рассказал о днях и делах местных пионеров, об их столкновениях с кулацкими сынками, о пропитанной гитлеровским духом школе, где учитель иначе не называет мальчика, как «проклятый коммунистёнок».

Кольцов внимательно слушает Губерта, и ему мгновенно приходит в голову идея: а не перенести ли, как в сказке, пионера из захолустной немецкой деревушки в... Москву, в столицу великой страны, где коммунистов не только не преследуют, но где, наоборот, им принадлежит власть! А о впечатлениях и переживаниях мальчика написать книгу. Сразу же родилось и название для такой книги — «Губерт в стране чудес», полемически перекликающееся с известной сказкой английского писателя Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».

Сказано — сделано. Родители Губерта согласились отпустить мальчика на один год в Советский Союз. Возникший буквально на ходу замысел Кольцова осуществляется безотлагательно и быстро: Мария Остен создала интересную, увлекательную повесть, вышедшую в свет в 1935 году в Москве под редакцией Кольцова и открывавшуюся вступительной статьей Георгия Димитрова.

Как непредсказуемы, подчас причудливы повороты жизненных путей. В дни, когда Саар готовится к решению своей судьбы, тревожно прислушиваясь к зловещему шелесту «коричневых крыльев» гитлеровского террора, когда неожиданный, истинно фантастический поворот совершается одновременно в судьбе юного Губерта, все честные люди земли испытывали томительную тревогу за судьбу самого Георгия Димитрова, находившегося в руках гитлеровских тюремщиков.

Но пройдут положенные историей короткие сроки, и, вырванный из фашистских застенков, Димитров в Москве пишет предисловие к уже созданной к этому времени книге о Губерте.

Подчеркивая, что лучшую часть молодежи воодушевляют революционные идеалы, стремление бороться за великое дело Ленина, Димитров говорит:

«У нас еще мало книг, которые сумели пойти навстречу этим стремлениям молодежи. «Губерт в стране чудес» — одна из таких книг».

Таким образом, чисто литературный замысел Кольцова, возникший у него в гуще журналистских впечатлений от бурлящего, взбудораженного Саара, сомкнулся с серьезнейшими политическими проблемами времени, стал частицей важнейших его событий.

Не следует, пожалуй, умолчать здесь о дальнейшей судьбе автора и героя книги «Губерт в стране чудес». Мария Остен, узнав из парижских газет об аресте Кольцова, приехала в 1940 году в Москву с наивным намерением опровергнуть возведенную на ее друга клевету. В 1955 году, по моему ходатайству, она была реабилитирована (посмертно). Тогда же, и тоже не без моего содействия, был реабилитирован Губерт Лосте, к счастью, прижизненно. По решению высоких инстанций он был, согласно его желанию, трудоустроен на южном берегу Крыма в совхозе «Солнечная долина», где поселился с женой и дочерью. Интересная работа, хорошие бытовые условия, радость долгожданного свидания со старой матерью, приехавшей из Саара, — жизнь улыбалась бывшему сарскому пионеру. И вдруг обрушилась беда. Внезапная болезнь, и в авгу-

сте 1959 года в хирургической больнице Симферополя Губерт умер 36 лет от роду.

Немало можно привести примеров удивительной оперативности Кольцова, его безошибочного журналистского чутья, умения увидеть что-то важное и нужное там, где другие спокойно проходили мимо бесперебойного темпа его работы.

Интересно говорит об этом в своих воспоминаниях журналистка Татьяна Тэсс, которой довелось как-то присутствовать при том, как Кольцов проводит в своем редакционном кабинете прием посетителей:

«Наблюдая, как он разговаривает с посетителями, я думала о том, что этот человек только что провел совещание в «Жургазе», прочел верстку «Огонька», переговорил с десятком сотрудников, подписал десяток бумаг, продиктовал очередной фельетон, написал письмо А. М. Горькому. Его ждут сейчас во множестве мест, а он сидит за большим столом, вертит в пальцах карандаш и внимательно слушает дошного старичка в брезентовой куртке, неторопливо и подробно разъясняющего важность нового способа повышения всхожести семян... Как его хватает на все это? Как удается ему со всем этим справляться без малейшего признака суетливости?

Улучив минутку, я, не удержавшись, сказала Кольцову об этом.

— Э! — засмеялся он. — Секрета тут нет. Надо только, чтобы какое-то дело, которым ты в данную минуту занимаешься, казалось тебе самым важным делом на свете. Только и того.

Именно так, видя в любом деле, которым он занимался в данную минуту, самое важное дело на свете, и работал Кольцов изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Увлеченно, азартно, весело.

Так было, когда, уже став постоянным фельетонистом «Правды» и целиком захваченный этой увлекательной работой, он задумал и осуществил издание еженедельного иллюстрированного журнала «Огонек», начавшего выходить 1 апреля 1923 года и существующего по сей день. Точно так же в свое время зажегся он идеей создания сатирического журнала «Чудак», впоследствии слитого с «Крокодилом» под его же редакцией. Нельзя, кстати, не вспомнить, что именно связанное с организацией «Чудака» письмо Кольцова А. М. Горькому положило начало их интереснейшей переписке, продолжавшейся вплоть до последнего года жизни великого писателя.

То была переписка вполне деловая и серьезная, касавшаяся характера и содержания различных изданий, выходивших в организованном и руководимом Кольцовым «Жургазе» (Журнально-газетном объединении) — таких, как «Чудак», «За рубежом», «Жизнь замечательных людей», «Библиотека романов», «История молодого человека XIX столетия», приложения к «Огоньку», «День мира», и многих других. Но об этих серьезных вещах Кольцов пишет Горькому в шутливой, смешной

форме, и Алексей Максимович охотно подхватывает эту «фельетонную» юмористическую интонацию.

Из первого письма Кольцова Горькому от 1 ноября 1928 года:

«...Вот, в самых общих чертах, основное уmonoстроение редакции («Чудака»). Излишне добавлять, что при такой физиономии будущего журнала Вы, Алексей Максимович, нам дотошно нужны, не только как генерал и как имя, а как реальный союзник, сотрудник, друг. Позволяю себе покорнейше просить Вас оказать мне парламентское доверие и с е й ч а с же (первый номер выходит 15 декабря, журнал еженедельный) прислать что-нибудь, хотя бы небольшое, весело-зубастенькое или сурово-наставительное, и то, и другое одинаково подойдет к характеру журнала».

Из ответа А. М. Горького (ноябрь 1928 г.):

«Искренно поздравляю Вас, милейший т. Кольцов, с «Чудаком».

Считая Вас одним из талантливейших чудаков Союза Советов, уверен, что под Вашим руководством и при деятельном участии таких же бодрых духом чудодеев журнал отлично оправдывает знаменательное имя свое.

Что есть чудаки? Чудаки есть человекоподобное существо, кое способно творить чудеса, не взирая на сопротивление действительности, всегда — подобно молоку — стремящейся закипеть.

Лично сотрудничать в журнале Вашем едва ли найду время, но — разрешите рекомендовать Вам знакомого моего Самокритика Кирилловича Словоглагова. Самокритик — подлинное имя его, данное ему родителями при крещении. Человек он уже довольно пожилой, но «начинающий». Беспартийный. Отношение к алкоголю — умеренное.

Всего доброго и — хорошего успеха.

А. Пешков».

Повесть о жизни и деятельности Михаила Кольцова была бы неполной и неоправданно урезанной, если, помимо того, о чем уже здесь рассказано, не упомянуть, хотя бы «пунктирно», об отдельных задуманных и осуществленных им делах, каждое из которых в ту данную минуту было для него, как мы помним, «самым важным делом на свете». Это прежде всего те 1400 фельетонов и очерков, которые один за другим были написаны им для «Правды». Среди них были подлинные художественные произведения, неувядаемые литературные новеллы — юмористические, сатирические, эпические. Они и сегодня волнуют, трогают, возмущают, смешат.

Такими фельетонами, как «Три дня в такси», «Семь дней в классе» и «в ЗАГСе», Кольцов, сделавшись на время таксистом, учителем и делопроизводителем, положил начало новому, существующему поныне газетному жанру, известному под названием «Репортер меняет профессию». Отдельные его выступления на страницах «Правды» приводили к масштабным общественным мероприятиям — таким, как, скажем, ор-

ганизация подмосковной зоны отдыха (Зеленый город), борьба за расширение сети чистых и уютных чайных в противовес прокуренным «пивнухам», постройка самолета-гиганта «Максим Горький», а вслед за тем и организация целой журнально-газетной агитационной авиаэскадрильи имени Горького.

Надо пояснить, что, увлекшись воздушной романтикой и написав фелетон «Хочу летать», Кольцов действительно стал много летать, принимая участие в ряде воздушных перелетов того времени, наиболее значительные из которых — по странам Западной Европы в 1929-м и Большой Восточный перелет по маршруту Москва — Анкара — Тегеран — Кабул через неприступные вершины Гиндукуша в 1930-м. Между прочим, за участие в этом перелете Кольцов наряду с другими членами экипажа первым среди советских журналистов был награжден орденом Красной Звезды. Кроме того, приказом народного комиссара по военным и морским делам ему присвоено воинское звание летчика-наблюдателя.

Я понимаю, что этот воздушный «послужной список» Кольцова выглядит довольно сухо, анкетно. Поэтому позволю себе привести маленький отрывок из его впечатлений о Большом Восточном перелете (очерк «На краю света»):

«...Мы вошли в Саланг — единственное ущелье, через которое можно одолеть вершины высочайшего азиатского горного хребта.

...Эти места не для людей. Эти места на краю света природа оставила для себя самой, чтобы в одиночестве, без суеты, в величественном безмолвии думать свои планетарные думы. И человек, стремительной дерзостью технического гения вознесенный на эти страшные высоты, содрогается, пугливо умолкает.

То, что называется ущельем Саланг, есть на самом деле злоеший хаос отдельных обледенелых пиков, бездонных пропастей, крутых и скользких скатов в неизвестность. Нет и не может быть точно проведенного пути внутри этой жадно оскаленной челюсти горных клыков. Воздушный отряд тянется через Саланг извилистой ломаной тропкой.

...Во что превратился этот бравый отрядик с таким щеголеватым, четким треугольником вылетевший с московского и ангорского аэродромов! Строй самолетов разбился, они ковыляют то гуськом, почти на скакивая один на другой, то врозь, теряя друг друга, переваливаясь через ледяные барьеры, огибая страшные горные шишки. Люди посинели, машины заиндевели.

Палыцы на руках и ногах слились в сплошные холодные железки. А горло, горло пьет без устали никогда неизведанный чудесный прозрачный напиток, этот редчайший, недостижимый ни человеку, ни птице воздух верхних слоев атмосферы, тот воздух, что никогда не коснется пыльной, зажатой земли.

...Мотор вдруг глубоко икает и останавливается... Что это? Катастрофа? Использовать парашют? Выбрасываться... где-сь?

Нет, и другие самолеты выключили газ, значит, да, Саланг выпустил нас. Главный хребет Гиндукуша пройден. Теперь мы катимся силой инерции на салазках с горы, вышиной почти в шесть километров... Мы рискуем, размахнувшись, перехватить через край. Мы можем промазать Кабул, проскочить в Индию — отсюда только тридцать минут лета до индийской границы. И англичане опупеют, и их печать будет вопить о наглom вторжении большевиков во владения британской короны...».

Но вот заканчиваются горячие дни корреспондентской работы в Афганистане, Иране, Турции. С головокружительных и романтических вершин Гиндукуша Кольцов спускается за свой рабочий стол в «Правде», и, опубликовав очерки о перелете, приступает к текущей работе. Он диктует очередной фельетон в очередной номер газеты. Интересно, о чем этот фельетон? Что прежде всего приковало внимание журналиста в родном доме после рискованного путешествия и причудливой экзотики далеких стран? А вот что. Фельетон целиком посвящен... подметке. Да, самой обыкновенной подметке. И с возмущением говорит о вопиющих безобразиях, творящихся у нас с ремонтом обуви.

Как обычно у Кольцова, фельетон «Очень злая прореха» начинается с шутиливой заповки:

«Так всегда бывает в жизни, — он и она расходятся не сразу. Пусть чудится, будто близость нарушена внезапно. На самом деле это не так.

На самом деле он и она уже давно незаметно отходят друг от друга, отодвигаемые равномерной, но неумолимой сутолокой будней.

Если только скрепы и нити надорвались, тогда уже ничто не в силах помешать этому непреклонно идущему разрыву.

Кто она? Подметка. Кто он? Ну, ясно же, кто. Сапог, конечно.

...Тут вы скажете, что вообще не желаете разговаривать о подметках и сапогах, да еще и в таком дурачко-лирическом тоне. На повестке дня — пятилетка в четыре года, колхозы и совхозы, промфинплан, — стоит ли тут распространяться на каблучно-подметочные темы!

Нет уж, извините. Распространяться придется. Сто миллионов рабочих и крестьян строят социализм. Но вовсе не было такого уговора, чтобы непременно строить босиком. Он, социализм, от этого лучше не станет».

Далее, приведя конкретные примеры того, «сколько у нас иногда ухитряются нагородить волокиты, бюрократизма, издевательства и прямого хамства в таком ничтожном деле, как починка сапог для рабочего человека», рассказав о том, как отлично организована обувно-починочная промышленность в Америке, Кольцов делает вывод:

«Починка сапог — это не пустой, а важный рабочий вопрос. Рабочий, значит, партийный вопрос. Надо нашим партийным организациям вместе с Кожсиндикатом, с Центросоюзом, с Колхозцентром собраться, внимательно рассмотреть сапожную прореху и зашить ее наглухо, раз навсегда».

Следующая проблема, попадающая в поле зрения Кольцова после подметки, — это благоустройство и развитие города-курорта, всесоюзной здравницы Сочи. Верный своему принципу — все увидеть своими глазами, Кольцов мчится на несколько дней в Сочи, после чего в «Правде» появляется обстоятельный очерк «На Советской Ривьере». Но результатом поездки в Сочи стал и другой, небольшой, но несравненно более запоминающийся, волнующий и проникновенный очерк «Мужество». Он возник таким образом: кто-то между делом сказал Кольцову, что где-то здесь, в Сочи, лежит в тяжелом положении парализованный и слепой комсомолец, который, будучи в таком состоянии, написал целый роман. Кольцов немедленно находит этого комсомольца.

Тридцать пять лет спустя друг Островского Г. Якущенко вспоминал в газете «Черноморская здравница»:

«Я был у Островского, когда к нему, в небольшой приземистый домик на Ореховой, 47, вошел М. Кольцов, приехавший из Сочи. Молодой, среднего роста, в очках в роговой оправе, он приблизился к койке, на которой лежал Николай, и, осторожно взяв его за руку, запросто сказал: «Давайте познакомимся, я — Кольцов, пришел навестить вас».

Они долго беседовали.

Островский говорил друзьям, что после встречи с Кольцовым он почувствовал себя бодрее и увереннее, что Кольцов одобрил то, что Островский задумал сказать в новой книге «Рожденные бурей».

Прошло несколько дней, и со страниц «Правды» страна впервые узнала о героической биографии и литературном подвиге Николая Островского. В очерке «Мужество», опубликованном 17 марта 1935 года, Кольцов писал:

«...Маленький, бледный Островский, навзничь лежащий в далекой хатке в Сочи, слепой, неподвижный, забытый, смело вошел в литературу, отодвинул более слабых авторов, завоевал сам себе место в книжной витрине, на библиотечной полке. Разве же он не человек большого таланта и беспредельного мужества? Разве он не герой, не один из тех, кем может гордиться наша страна?».

Рассказ о парализованном, но стоически продолжающем творить писателе-комсомольце всколыхнул миллионы людей. Скромный домик в Сочи был буквально завален письмами с взволнованными откликами.

А вот отклик самого Островского:

«Москва, «Правда», Михаилу Кольцову. Пламенный первомайский привет. Глубоко признателен центральному органу партии «Правде» за большевистское внимание, защиту».

В сочинском музее Островского хранится подлинник письма Кольцова, посланного им в домик на Ореховой в мае 1935 года. Вот оно:

«Дорогой Коля!»

Попал проездом в Шепетовку и вспомнил Вас. Ведь здесь — не так ли — прошло Ваше детство и здесь начинается действие Вашего романа? Сейчас в Шепетовке большое оживление — многое строится, много уча-

щейся молодежи. В буфете на вокзале чинно обедают красные командиры. А ведь здесь, кажется, Вас таскали за волосы? Сейчас в киоске здесь продают Вашу книгу.

Желаю Вам сил и здоровья, чтобы дальше работать и держать связь с жизнью.

Ваш Михаил Кольцов»

А 1 октября 1935 года ЦИК СССР постановил:

«Наградить Орденом Ленина писателя Островского Николая Алексеевича, бывшего активного комсомольца, героического участника гражданской войны, потерявшего в борьбе за Советскую власть здоровье, самоотверженно продолжающего оружием художественного слова борьбу за дело социализма, автора талантливого произведения «Как закалялась сталь».

...Подчиняясь исконным законам природы, сменяют друг друга времена года. Двадцатый век отсчитывает свои тридцатые годы. Безостановочно вращается лента событий, и журналисты всего мира не сидят без дела. Среди них, естественно, и «неистовый правдист». Он ездит, летает, пишет, редактирует, заседает и снова пишет, и снова ездит, и снова летает.

Лето тридцать шестого принесли с собой поворот колеса истории, который многое изменил и определил собой наступление многих драматических событий, решение многих человеческих судеб. Этим поворотом был прозвучавший 18 июля 1936 года над Пиренейским полуостровом печально знаменитый радиосигнал к фашистскому мятежу против Республики: «Над всей Испанией безоблачное небо». А через несколько дней я как-то зашел в редакцию «Правды», и брат молча показал мне копию письма за подписью Мехлиса в Политбюро с просьбой разрешить срочно направить М. Кольцова специальным корреспондентом «Правды» в Испанию. Последние четыре слова письма гласили: «Согласие товарища Сталина имеется».

Эти четыре слова открывали путь к самым славным страницам биографии Кольцова, к «звездному часу» его, как журналиста и политического деятеля. Они же, чего, конечно, никто не мог думать, предвещали его трагический финал.

Месяцы 1936—1937 годов в Испании, все увиденное, пережитое, пережитое Кольцовым в огне гражданской войны в этой стране, достоверно и волнующе запечатлено им в знаменитом, неувядаемом «Испанском дневнике», который Алексей Толстой и Александр Фадеев в совместной статье, напечатанной в «Правде» в ноябре 1938 года, за тридцать девять дней до ареста его автора, назвали «великолепной, страстной, мужественной и поэтической книгой».

Мне думается, читателю будет небезынтересно познакомиться с двумя-тремя записями из книги, получившей столь, не боюсь сказать, восторженный отзыв двух выдающихся советских писателей. К тому же



эти записи дают, как мне кажется, представление о деятельности и поведении спецкора «Правды» в Испании. Следует, между прочим, иметь в виду, что появляющийся на страницах «Дневника» «мексиканский коммунист Мигель Мартинес» — не кто иной, как сам Кольцов. Официальная политика «невмешательства» в испанские дела принуждала в ту пору к «дипломатическому» камуфляжу.

«20 сентября 1936 года.

Мятежники рвутся в Толедо. В их первых эшелонах идут марокканцы. Они отчаянно дерутся, они идут в атаку с душераздирающими криками, от которых у рядовых дружинников кровь стынет в жилах. Все полны рассказов о коварстве и жестокости мавров.

В толедском военном госпитале — на двух койках в углу два темнокожих пленных солдата. Один ранен в глаз, другой в ногу. Хорошие, добрые лица, доверчивые улыбки, бесхитростно-откровенные рассказы. Раненые бойцы дружат с ними, шутят, делятся сигаретами...

21 сентября.

На рассвете кто-то прибежал: фашисты взяли Македу. Теперь они в сорока двух километрах отсюда, их тянет, как магнитом, к Алькасару. И осажденные тоже мечтают додержаться до их прихода.

Но ведь это просто немислимо! Сегодня крепость должна пасть. Нет цены за это слишком дорого.

...Баррикады на площади Сокодовер гремят винтовками и пулеметами. Но они теперь только резервный заслон. Главная борьба перенесена дальше, плотно к крепостному холму.

Вся южная стена над воротами, как и вчера, под сильным огнем мятежников. Осажденные, видимо, оставили здесь небольшую прикрывающую группу, а в основном ушли наверх, на холм, в главное здание, в военную академию.

...Мы перебегаем через мостовую и прижимаемся к стенам домов напротив.

Теперь начинается самый подъем. Его надо делать перебежками вдоль стен, через горячие и дымящиеся развалины, расположенные ступенями.

За четверть часа в таких перебежках мы поднялись уже шагов на полтора. Из академии стреляют поверх нас, вниз, туда, где идет бой у дома военного губернатора. Снизу перебегают новые ребята. Неизвестно только, кто командует этим делом. По-моему, командира здесь вообще нет.

В первой группе мы взбираемся дальше. На четвереньках или просто нагнувшись, вбегаем в какую-то постройку. Что за чудное место! Это был домик для сторожей, что ли. Но он сгорел, вернее — еще горит... Никогда не думал, что можно так хорошо себя чувствовать в горящем доме!

Снизу карабкаются еще люди. Один из наших высунулся вверх, сел

на стену домика и машет вниз флагом, призывает. Ах, идиот! Ведь этим он обнаруживает нас!

Не знаю, заметили ли флаг внизу, в монастыре. Но сверху заметили. Стреляют в нас, прямо в кучу. Ведь крыши-то нет!

Это получилось просто загон на бойней... Что-то ударило по ушам и по глазам. Я упал навзничь на людей — куда ж больше падать? На меня тоже упали. И что-то невыразимо страшное, отвратительное, мокрое шлепнуло по лицу. Но это чужая кровь на стекле очков.

Все катится вниз. Куда же? Зачем же бежать теперь вниз? Ведь можно остановиться, лечь здесь, дожидаться подкреплений снизу. Ведь жалко же, так хорошо поднялись! Зачем терять то, что уже добыто кровью?

Немолодой боец со значком Пятого полка, высокий, лысый, иступленно ругается, останавливает солдат, тычет им, как пальцем, дулом пистолета в грудь, уговаривает не спускаться. И Мигель Мартинес, озверев от обиды, вытаскивает пистолет из-за пояса, останавливает солдат, просит, умоляет, он тоже тычет, как пальцем, дулом пистолета в их или собственную свою грудь, он ругается плохими ругательствами своей страны. Но нет, вся группа катится по склону, обратно вниз и еще вниз... Неужели еще ниже? Да, еще. Но ведь здесь уже можно остановиться! Здесь можно окопаться! Нет, еще вниз. Еще, еще, еще, еще вниз. И через мостовую... И еще обратно в ворота. В монастырь. Вот теперь все.

Штурм не удался.

...Опять перебежки через мостовую, опять накапливаемся, опять по тому же пути поднимаемся вверх. Но подъем идет быстрее, чем раньше. Старики подбадривают молодых, новичков.

Это мы — «старики». Ведь мы здесь уже были час тому назад! Мы старожилы. Знаем каждый камушек. Да! Этот камушек я знаю. На нем я сидел пять минут... Пустяковый камень, но факт, я его помню.

Домика без крыши мы достигаем очень быстро.

...Нас тут сотня человек с небольшим. Ни одного пулемета с собой, только ручные гранаты. Внутри ограды две тысячи человек, хорошо вооруженных и отчаявшихся. Надо подождать пять или десять минут, пока взбегутся анархисты с пулеметами.

Где же вторая группа? Мы смотрим вниз. Анархисты не поднимаются. Мятеежники перестали экономить патроны, они устроили пулеметную завесу посредине холма. Анархистская часть не решается подняться.

Но мы-то ведь пробрались!

...Лежим еще десять минут. Ярость душит нас. Ну что ж, мы сами переберемся через ограду... Так мы лежим, но подкреплений нет. Мы лежим долго, и стрельба постепенно стихает. Наступило время еды. Внизу, под нами, в монастыре Санта-Крус, анархисты обедают. Сзади, в Алькасаре, над нами, фашисты обедают. Мы одни, очень голодно, и нечеловечески хочется пить.

Ведь это просто смешно: штурмом, под огнем, впереди всех взобраться по склонам Алькасара, лежать у его стены, держать в руках

штурмовую лесенку — и думать только о холодной котлете, о бутылке лимонада!

Еще полтора часа. Стало совсем тихо. Солнце плавит мозги. И тогда, в озорном отчаянии, взобравшись на лесенки, став друг другу на плечи, бойцы забрасывают гранатами, всеми, сколько их есть, двор академии. Алькасар, получай!

Страшный грохот, дым, стекла звенят, адская пулеметная трескотня в ответ. А мы несемся вниз, как мальчишки, что позвонили у парадной двери и ударают по лестнице».

И еще одна запись из «Дневника». Речь идет о Международном антифашистском конгрессе писателей в защиту культуры, на котором Колцов возглавляет советскую делегацию.

«4 июля.

Конгресс открылся сегодня утром, официально и торжественно, в зале муниципалитета, в котором теперь заседает парламент. Глава правительства Хуан Негрин открыл конгресс краткой приветственной речью. Ему отвечал от имени писателей старейший делегат Мартин Андерсен Нексе. Старик немного не учел торжественности обстановки. Всю дорогу, в автомобиле, в пыли, в тропической жаре, он трясся в черном сюртуке, в тугой крахмальной манишке, с черным галстуком. Здесь же, на официальной церемонии, он предстал в расстегнутой рубашке без воротника, с седыми космами на широкой дряхлой груди. Кинооператоры были разочарованы, но зал дружно аплодировал живым, простым словам доброго старого Нексе. Негрин пригласил его в президиум и, передав председательствование, удалился.

...Сегодня же правительство чествовало конгресс обедом на пляже в ресторане Лас Аренас. Писатели сидели попеременно с министрами и военными, знакомились, беседовали и болтали. Анне Зегерс очень понравился плотный, добродушный испанец в очках, остроумный и веселый, к тому же изумительно говорящий по-немецки. Он давал ей справки и быстрые, живые характеристики испанцев, сидевших за столом. «А вы здесь какую должность занимаете?» — ласково спросила Анна, щуря близорукие глаза. «Я здесь председатель совета министров, я у вас выступал сегодня на конгрессе», — ответил Негрин.

...Ночью город основательно бомбили, — возможно, что по случаю конгресса. Делегаты дрыхли мертвым сном после дороги и дневных переживаний. Так они могли проспать все. Я приказал телефонистке «Метрополя» разбудить немедленно всю мою делегацию и торжественно повел ее в подвал. Сирены выли, зенитная артиллерия стреляла непрерывно, звук — как будто раздирают огромные куски полотна. Издалека слышались глухие взрывы бомб. «Каково?» — спросил я тоном гостеприимного хозяина. Все были взволнованны и очень довольны. Вишневский спросил, какого веса бомбы. Но я не знал, какого они веса. Черт их знает, какой у них вес. Толстой сказал, что наплевать, какой вес, важно, что это бомбы. Он был великолепен в малиновой пижаме здесь, в погребке.

Я уснул в хорошем настроении. Все-таки он состоялся, этот чертов конгресс, как ни интриговали против него.

Все идет хорошо».

Итак, к Первомайскому празднику 1937 года Кольцов ненадолго приезжает в Советский Союз. На Белорусском вокзале его встречает, как говорится, «вся Москва» — журналистская и писательская. Отблеск захватывающей борьбы в Испании ореолом всенародной популярности ложится на спецкора «Правды». Он окружен всеобщим вниманием. В Кремле ему вручается довольно еще редкий в ту пору боевой орден Красного Знамени.

На традиционном Первомайском приеме в Георгиевском зале Кремлевского дворца среди многих прозвучавших там здравниц был и тост, предложенный народным комиссаром по военным делам.

— Вы знаете, товарищи, — сказал Климент Ефремович Ворошилов, — в Испании сейчас идет война. Упорная, нешуточная война. Воюют там разные нации. Затесались туда и наши русские. Я предлагаю, товарищи, поднять бокалы за представителя наших людей в Испании, присутствующего здесь товарища Михаила Кольцова.

А писатель Лев Славин рассказывал впоследствии в своих воспоминаниях: «Я помню одно из выступлений Всеволода Вишневского, только что вернувшегося из поездки в Испанию. Он сказал: «Мы дали Испании танки. Мы дали Испании самолеты. Мы дали Испании Михаила Кольцова!»

В эти дни Кольцов, что называется, «нарасхват»: ему приходится рассказывать о своих испанских впечатлениях в самых различных аудиториях. Но самой серьезной из этих аудиторий была, несомненно, и самая немногочисленная из них — всего пять человек. Это были Сталин и наиболее приближенные к нему лица — Молотов, Каганович, Ворошилов, Ежов.

Вопросы к Кольцову о самых разнообразных деталях военной и политической ситуации в Испании и его обстоятельные ответы заняли больше трех часов.

На один из вопросов Кольцов как-то не сразу ответил, замешкался.

Сталин, расхаживавший взад и вперед по кабинету, остановился и внимательно на него посмотрел.

— Что это вы замолчали, товарищ Кольцов? — спросил он. — Что вы смотрите на товарища Ежова? Вы не бойтесь товарища Ежова. Рассказывайте, как есть.

— Я не боюсь Николая Ивановича, товарищ Сталин, — сказал Кольцов, — я просто обдумываю, как наиболее точно и исчерпывающе ответить на ваш вопрос.

Сталин помолчал.

— Хорошо, — сказал он. — Отвечайте не торопясь.

Наконец беседа подошла к концу.

— И тут,— рассказывал мне брат в тот же вечер,— он стал как-то ч у д и т ь . Остановился возле меня, прижал руку к сердцу, поклонился.

— Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?

— Мигель, товарищ Сталин,— ответил я.

— Ну, так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. До свидания, дон Мигель. Всего хорошего.

— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул, и произошел какой-то странный разговор:

— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

— Есть, товарищ Сталин,— удивленно ответил я.

— Но вы не собираетесь из него застрелиться?

— Конечно, нет,— еще более удивляясь, ответил я,— и в мыслях не имею.

— Ну, вот и отлично,— сказал Сталин. — Отлично! еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель.

На другой день, коснувшись в телефонном разговоре происшедшей накануне беседы, К. Е. Ворошилов, как всегда дружелюбно, сказал Кольцову:

— Имейте в виду, Михаил Ефимович, вас ценят, вас любят, вам доверяют.

— Что ж, Мышонок,— сказал я, когда брат мне об этом рассказывал,— по-моему, это очень приятно.

— Да, приятно,— произнес Миша задумчиво. — Но знаешь, что я совершенно отчетливо прочитал в глазах х о з я и н а, когда он провожал меня взглядом?

— Что?

— Я прочитал в них: с л и ш к о м п р ы т о к .

...Шел тридцать седьмой год.

Что заставляет человека, особенно на склоне лет, возвращаться к давно минувшим и весьма невеселым событиям? Зачем о них вспоминать? Надо ли ворошить прошлое? Кому это нужно?

Разумеется, я не имею в виду тех, кому обращение к прошлому положено, так сказать, по штату, по профессии — историков, исследователей, обозревателей. А должны ли этим заниматься «простые смертные»? Им-то зачем браться за перо?

Конечно, вовсе не для огульного очернения прошлого нашей страны, в котором было так много замечательных дел и героических свершений. Нет — для того, чтобы не пропала без следа память о бессмысленно и варварски загубленных честных советских людях, многие из которых внесли в эти великие дела и свою немалую долю.

Но не только это. Рассказывать об этих людях, на мой взгляд,— наш святой долг. Смысл воспоминаний о происшедшей с ними трагедии

кроется, думаю, в высокой и человеческой потребности с о п е р е ж и в а н и я, когда твои чувства смыкаются с чувствами сотен и тысяч других людей, твои переживания — с их переживаниями, твоя боль — с их болью. Когда ты четко ощущаешь взволнованную «цепную реакцию», которую твои воспоминания пробудили или оживили в их памяти. Когда ты понимаешь и веришь, что слезы, с которыми они, как сами о том говорят и пишут, читали о судьбе близкого тебе человека, были и слезами об участии их, так же бесследно исчезнувших и неведомо где сгинувших отцов, братьев, сыновей.

Есть крылатые поэтические строки: «Сороковые, роковые... Война гуляет по России...». А недавно увидели свет стихи о том, как «гуляли по России» т р и д ц а т ы е. С великой болью написанные «По праву памяти» А. Твардовского, «Реквием» А. Ахматовой, стихи О. Берггольц...

Т р и д ц а т ы е гуляли по России. Чуть ли не в каждый дом, чуть ли не в каждую семью железной, леденящей поступью входило то непостижимое и страшное, что, направляемое некоей безжалостной рукой, отнимало свободу и жизнь, грубо и бесчеловечно растаптывало честь людей, их человеческое достоинство, заслуги перед народом, преданность Родине, веру в справедливость и законность.

Народ назвал это время «ежовщиной» по имени маленького, невзрачного человека, всемогущим капризом вознесенного на головокружительную высоту власти, так же легко и равнодушно с нее низвергнутого и, кстати сказать, разделившего участь уничтоженных им людей.

Как объяснить сегодняшнему читателю, что это такое?

Как описать состояние тысяч и тысяч людей, не знающих за собой никакой вины, но каждую (каждую!) ночь с замиранием сердца прислушивавшихся, не раздастся ли в дверь роковой звонок, облегченно вздыхавших и забывавшихся тяжелым сном где-то под утро для того, чтобы в течение дня с ужасом думать о следующей ночи.

Как рассказать, какими словами изобразить настроение людей, всеми фибрами души чувствующих нависшую над ними и их семьями беду и бессильных ее отвлечь, не знающих, как спастись, куда деваться, скванных и беспомощных, как в ночном кошмаре.

Эти люди страстно желали бы что-то у кого-то спросить, что-то кому-то объяснить, в чем-то оправдаться, что-то опровергнуть. Но сделать это нет ни малейшей возможности просто потому, что никто никаких вопросов им не задает, ни в какие объяснения не вступает, никаких претензий не высказывает, никаких обвинений не предъявляет. Человек чувствует себя в каком-то жутком бредовом вакууме, но должен при этом делать вид, что никаких оснований для беспокойства у него нет, должен казаться абсолютно спокойным и бодрым, сохранять полную работоспособность, как обычно, выполнять свои обязанности.

Вижу, как, шагая взад и вперед по своему кабинету в «Правде» (к этому времени он уже был окончательно отозван из Испании), Кольцов размышлял вслух:

— Думаю, думаю... И ничего не могу понять. Что происходит? Каким образом у нас вдруг оказалось в стране столько врагов? И кто? Люди, которых мы годами знали и уважали, с которыми вместе работали, рядом жили. Командармы, полпреды, наркомы, герои гражданской войны, старые партийцы-ленинцы. И почему-то, едва попав за решетку, они мгновенно признаются в том, что являются замаскированными врагами народа, шпионами, агентами иностранных разведок. Что замыслили вернуть земли помещикам, фабрики капиталистам... В чем дело? Я чувствую, что схожу с ума. А ведь по своему положению — член редколлегии «Правды», известный журналист, — я, казалось бы, должен уметь объяснить людям смысл того, что происходит, причины такой массы разоблачений и арестов. А на самом деле я, как самый последний перепуганный обыватель, ничего не знаю, ничего не понимаю, растерян, сбит с толку, брожу впотьмах.

То ли кто-то, — продолжал брат, — может быть, Ежов, непрестанно разжигает его подозрительность, подсовывая наскоро состряпанные заговоры и измены. То ли, наоборот, он настойчиво и расчетливо подогревает усердие Ежова, поддразнивает, что тот не видит у себя под носом предателей и врагов народа. Вот тебе, кстати, характерный штрих, который многое мне объяснил. На днях я зашел к Мехлису, застал его за чтением какой-то толстой тетради. Это были показания недавно арестованного редактора «Известий» Таля. «Прости, Миша, — сказал он мне со своей улыбочкой, — не имею права, сам понимаешь, дать тебе прочесть. Но посмотри, если хочешь, его резолюцию». Я посмотрел. Красным карандашом было написано: «Товарищам Ежову и Мехлису. Прочесть совместно и арестовать всех упомянутых здесь мерзавцев. И. С.».

Понимаешь, — сказал Миша, — люди, о которых идет речь, еще на свободе. Они работают, может быть, печатаются в газетах, ходят с женами в гости и в театры, собираются в отпуск куда-нибудь на юг. И не подозревают, что они уже «мерзавцы», что они уже осуждены и, по сути дела, уничтожены одним росчерком этого красного карандаша. Ежову остаются чисто технические детали: оформить «дела» и выписать ордера на арест.

Я слушал брата, и сердце сжималось зловещей тревогой. Я не мог отделаться от мысли, что и его судьба может быть решена вот так же... красным карандашом на чьих-нибудь вынужденных или выдуманных показаниях. Я отчетливо представлял себе, как где-то в тиши недоступных для простых смертных кабинетов решается участь Кольцова, как кто-то, скорее всего Мехлис, прилагает все усилия посеять в подозрительном уме Сталина недоверие к «дону Мигелю», и где-то во тьме колеблются таинственные весы, на которых лежит его судьба.

Вскоре произошло обстоятельство, обострившее мою тревогу.

В Москву приехали гости из Испании — командующий военно-воздушными силами республики генерал Игнасио Сиснерос и его жена, журналистка Констансия де ла Мора. Кольцов дружил с ними в Испа-

нии и, естественно, постарался окружить их в Москве гостеприимным вниманием. В один из вечеров испанские гости ужинали на квартире у Кольцова. Пришел и я. Помню, именно в этот день в газетах был напечатан указ о снятии Ежова и назначении на его место Берии. Сев за стол рядом с братом, я сказал ему вполголоса:

— Ну, вот и не стало Ежова. Кончилась «ежовщина».

— Как сказать,— неохотно отозвался Миша. — Может быть, теперь становятся подозрительными те, кого не тронул Ежов.

А еще через день брат очень живо, с забавными подробностями, рассказывал мне, как, темпераментно перебивая друг друга, супруги Сиснерос описывали прием у Сталина, как они были потрясены и очарованы его простотой и добродушием, как мило он представился каждому из них, пожимая руку и называя при этом свою фамилию, какую осведомленность проявил он в биографии и боевых заслугах самого Игнасио и даже любезно вспомнил его прадеда, видного флотоводца Испании адмирала Сиснероса (все эти факты были, разумеется, заблаговременно подготовлены Кольцовым).

Я молча слушал брата, а меня сверлил один-единственный вопрос, который я, наконец, задал, хотя ответ был ясен заранее:

— Скажи, Мышонок. А... А тебя не пригласили?

Он посмотрел на меня своим умным, все понимающим взглядом.

— Да,— сказал он, очень отчетливо выговаривая слова,— меня не при-гла-си-ли.

Развязка наступила 12 декабря 1938 года.

В этот вечер Кольцов выступал с большим докладом о недавно опубликованном «Кратком курсе истории ВКП(б)» в Центральном Доме литераторов. Знаменитый Дубовый зал писательского клуба был заполнен до отказа. Я нашел себе место наверху, на хорах. В перерыве я спустился в зал. Кольцов был, как всегда, окружен людьми, оживлен, весело обменивался шутливыми репликами. После собрания мы подошли к нему в вестибюле вместе с его помощником Н. Беляевым, и я предложил поехать всем ко мне пить чай. Миша подумал и сказал:

— Чай — это неплохо. Но у меня еще есть дела в редакции. Я поехал в «Правду».

Мы условились увидеться завтра. Но завтра мы не увиделись. И не увиделись больше никогда.

На другой день мне рассказала секретарша Кольцова в «Правде» Валиа Ионовна:

— Мы приехали из ЦДЛ, Михаил Ефимович прошел к себе в кабинет, снял пальто, попросил меня «организовать чайку погорячее и покрепче» и сел за свой стол. Тут же раздался звонок от Ровинского, который в этот день дежурил по номеру. Просил срочно к нему зайти. Михаил Ефимович пошел к Ровинскому, очень скоро от него вернулся,



забрал свое пальто и снова вышел. Я выскочила за ним в коридор и окликнула его:

— Михал Ефимыч! Куда же вы? Надолго? А чай?

Он остановился и посмотрел на меня как-то рассеянно. Мне бросилось в глаза, что он был очень бледен.

— Что, Валечка? — спросил он. — Чай? Не знаю... Может быть, задержусь.

Я убежден, что после минутного шока, когда ему был предъявлен подписанный Берией ордер на арест, Кольцов овладел собой.

Я убежден, что в нем заговорил природный «неистовый» журналист, которому вдруг предстала мрачная, но исключительная возможность увидеть своими глазами то тайное и страшное, о чем было столько думано-передумано...

Он верил в свою звезду и, я убежден, верил, что пройдет через это страшное и напишет о нем книгу, может быть, еще один неповторимый «Дневник».

Но судьба ему в этом отказала.

Думаю, нет надобности распространяться о том, что я испытал, узнав об аресте брата. Это состояние хорошо знакомо всем людям, а их миллионы и миллионы, которых вот так же беспощадно и необратимо ударила «похоронка» — весть о гибели самого близкого человека.

При этом я нисколько не сомневался, что оставаться на свободе мне предстоит какие-то считанные часы, в лучшем случае дни. По неписаным, но прочно установившимся законам той поры мне «полагалось» последовать за братом. Я понимал, что там отлично знают мою близость к брату и, естественно, осведомленность обо всех его делах, планах, настроениях. И с точки зрения тех, кто, очевидно, уже сфабриковал против Кольцова «дело» об измене Родине, я не мог не принимать в этом участия или, во всяком случае, не мог не знать о вражеских замыслах своего брата. Немного удивляло только то, что меня не арестовали одновременно с Кольцовым. Впрочем, это могло быть только случайной и легко поправимой «технической накладкой». Вот почему следовало деловито, по-мужски приготовиться к дальнейшему.

Правда, незадолго до того огромное впечатление произвела на всех неожиданно произнесенная фраза «Сын за отца не отвечает». С несмело вспыхнувшей надеждой все увидели в ней некий поворот к лучшему, показатель определенного «смягчения». Однако этого не произошло. Сыновья продолжали отвечать за отцов, жены за мужей, братья за братьев. Много лет спустя об этом написал Александр Твардовский:

Сын за отца не отвечает—  
Пять слов по счету, ровно пять...  
Их обронил в Кремлевском зале  
Тот, кто для всех нас был одним  
Судеб вершителем земным.

И дальше из той же поэмы «По праву памяти»:

...Пять кратких слов.  
Но год от года  
На нет сходили те слова,  
И звание сын врага народа  
Уже при них вошло в права.

Да, так оно и было. В частности, для меня с момента ареста Кольцова «вошло в права» звание б р а т в р а г а народа. И я приготовился нести последствия этого «звания».

Однако прошли сутки с того часа, как Кольцов был арестован в редакции «Правды». Прошли вторые. Прошла неделя. И я начал приходить к выводу, что по какому-то капризу судьбы, воплотившемуся в каприз одного человека, в отношении меня «судеб вершителем земным» было определено:

— Н е т р о г а т ь .

— ...Но что же случилось? — мучительно размышлял я. — Что же вдруг произошло? Ведь со времени памятного доклада у Сталина в мае 1937 года, когда брату показалось, что его активная деятельность в Испании вызвала некую зловещую настороженность у всегда подозрительно-го х о з я и н а, прошло полтора года. Срок немалый. И как будто ничего плохого за это время не случилось. Не случилось? Как знать...

Конечно, в ту декабрьскую ночь я еще не мог знать об известном письме Ф. Ф. Раскольников, в котором он бросает в лицо Сталину гневные слова обвинения в деспотизме, жестокости, кровавом произволе, в котором он спрашивает Сталина: где Борис Пильняк? где Сергей Третьяков? где Михаил Кольцов? где Всеволод Мейерхольд?

Это письмо тогда еще не было написано. Но, мысленно опережая время, нетрудно представить себе, в какую ярость оно привело Сталина, какую роковую роль оно могло сыграть в участи упомянутых в нем людей.

Раскольников... Федор Федорович... Они были с Кольцовым дружны, общались, как принято говорить, домами. Кстати, с Раскольниковым у меня связано одно воспоминание, курьезное, забавное. Оно мало гармонирует с трагическими событиями, о которых идет речь. Но вот... вспомнилось...

Лето 1923 года. В Кремле какое-то большое совещание. Я стою рядом с Кольцовым в кулуарах вблизи Андреевского зала, с интересом наблюдаю вокруг, рассматриваю известных всей стране людей. И тут мы с Мишей одновременно замечаем: неподалеку остановилась небольшая группа весьма видных товарищей. Я узнаю среди них Бухарина, Чичери-

на, Радека, Сталина. В руках у Бухарина номер «Огонька». Указывая на что-то напечатанное в журнале, он заразительно хохочет, откидывая назад голову. Беззвучно трясется от смеха Чичерин. Поблескивая большими очками, хихикает Радек, и даже сдержанный Сталин усмехается в густые усы. Мы с Мишей переглянулись.

— Гм... Интересно, что их там так рассмешило? — пробормотал редактор «Огонька» несколько встревоженно. В этот момент Бухарин заметил брата и, продолжая смеяться, жестом попросил подойти. Я вижу, как Кольцову показывают что-то в журнале и снова смеются. Улыбается и Миша, но как-то кисло, и возвращается ко мне явно расстроенный.

— В чем дело? — спрашиваю я шепотом.

— Да чушь какая-то. Но, в общем, неприятно.

Что же оказалось?

Что так рассмешило столь незаурядных читателей «Огонька», который, напомним, только три месяца как начал выходить в свет? На обложке июньского номера журнала (№ 11) напечатана фотография со следующей подписью:

«Полномочный представитель РСФСР в Афганистане Ф. Ф. Раскольников (сидит на слоне), отзыва которого потребовало английское министерство иностранных дел, посещает город и крепость Джелалабад, вблизи Кабула».

На снимке действительно отлично виден Раскольников, сидящий в паланкине на спине огромного слона. По лесенке, приставленной к слону сбоку, спускается Лариса Рейснер, вокруг — разные «сопровождающие лица».

В чем же была причина смеха? А в том, что если подпись под фото прочесть вслух, то получается, что английское министерство требует отзыва... слона, на котором сидит полпред, а не самого полпреда.

— Ч-черт... Действительно, идиотский ляпсус, — ворчит брат, — хотя орфографически здесь все правильно. «Сидит на слоне» взято в скобки. Но все равно звучит смешно. Досадно. Теперь Бухарин будет до-олго подтрунивать по этому поводу.

...А вот всплывает еще один «кадр» воспоминаний, уже значительно более серьезный. Это было позже, в 1924-м. Брат как-то мне рассказывает:

— Знаешь, меня на днях вызвал Сталин. Очень любопытно.

— Зачем? — спросил я с интересом, но совершенно спокойно: имя Сталина тогда еще не вызвало такого страха, его еще не именовали «хозяином».

— А вот послушай. Мне позвонили, я приехал в ЦК, поднимаюсь на четвертый этаж, вхожу. Как-то странно — ни души. Ни секретарей, ни помощников. Тут из какой-то боковой двери выходит сам Сталин, здоровается и ведет к себе в кабинет. Садимся, и он сразу к делу:

«Товарищ Кольцов. «Огонек» — неплохой журнал. Разнообразный,

живой. Но у некоторых товарищей членов ЦК есть мнение: в журнале замечается определенный сервилизм».

«Сервилизм? А в чем, товарищ Сталин?»

«Да, сервилизм. Угодничество. Некоторые товарищи члены ЦК говорят, что скоро вы будете печатать, по каким клозетам ходит товарищ Троцкий».

— Сначала я даже растерялся, — рассказывал мне Миша, — уж очень это было откровенно, а потом говорю: «Товарищ Сталин, «Огонек» — журнал массовый, для широкой аудитории, и мы считали, что в наши задачи входит рассказывать народу о его вождях, об их деятельности, работе, отдыхе, деталях их жизни и биографии. Мы и поместили подборки фотоснимков «День Калинина», «День Рыкова», «День Троцкого», другие. А не так давно мы напечатали фотографию окна, через которое бежал товарищ Сталин в Батуми в 1902 году, когда полиция нагрянула в подпольную типографию, им организованную». — Сталин как-то прищурившись, недоверчиво на меня посмотрел и сказал:

«Товарищ Кольцов. Я передал вам мнение членов ЦК. Учтите в дальнейшей работе. Всего хорошего».

Рассказывая об этом разговоре, Миша прибавил полушутя:

— Вот я и получил, по сути дела, выговор от Генерального секретаря.

Увы, как показало будущее, это был не просто «выговор» — в недоброй и цепкой памяти Сталина, видимо, отлично сохранилось, что уже в далеком прошлом Кольцов рекламировал в «Огоньке» Раскольникову с его дурацким сломом и там же в изобилии печатал фотографии Троцкого и Рыкова, да еще пытался ему, Сталину, втереть очки каким-то жалким «окном». Таких вещей Сталин не прощал. К тому же он не любил людей инициативных, самостоятельно мыслящих, смелых. И в нем, несомненно, постепенно накапливалось раздражение против Кольцова, в котором он то и дело замечал эти неприятные ему черты.

Но неприязнь к Кольцову, думается мне, в какой-то степени и на какое-то время нейтрализовалась объективной оценкой его как талантливого журналиста и энергичного, толкового организатора весьма нужных в ту пору зарубежных антифашистских мероприятий — конгрессов, конференций, встреч. Наиболее значительным среди них были подготовка и проведение в 1935 году в Париже Международного конгресса писателей в защиту культуры. Да и помимо этого, десятки разнообразнейших общественных инициатив и выступлений Кольцова в печати не могли быть неизвестны х о з я и н у.

Чаши весов колебались.

Недоброй, тревожной вереницей шли недели и месяцы тридцать восьмого. Кольцов продолжал занимать все свои посты и должности, выполнять все свои многочисленные обязанности. Не раз доводилось ему в этот период видеть Сталина, выслушивать те или иные его замечания, связанные с вопросами Международного антифашистского движе-

ния в защиту культуры, к которому Кольцов имел прямое касательство как Председатель иностранной комиссии Союза писателей. Заходила речь и о других делах — литературных, издательских. После таких встреч брат обычно делился со мной своими наблюдениями, рассказывая о всех подмеченных им деталях поведения х о з я и н а, его словечках, шуточках. Помню, как он потряслся его абсолютной невозмутимостью на фоне того, что происходило в стране, его спокойными рассуждениями о различных отвлеченных исторических и философских материях, непостижимо далеких от того, что будоражило миллионы людей.

Что касается отношения лично к Кольцову, то, пожалуй, ни один самый чувствительный прибор не смог бы обнаружить со стороны х о з я и н а ничего угрожающего. Больше того: Мехлис, приехавший из Сочи, где отдыхал Сталин, очень торжественно оповестил Кольцова, что х о з я и н как-то благосклонно о нем отозвался, похвалив, в частности, за то, что он, Кольцов, полностью изжил вредное влияние Троцкого, под которое одно время подпал (не забылись, значит, фотографии Троцкого в «Огоньке»... Вот это память!).

В конце лета тридцать восьмого, где-то в августе, Миша позвонил мне поздно вечером из редакции.

— Ну, вот... Последнее время я тебя часто огорчал... Сегодня могу порадовать. Только что позвонил Маленков и сообщил, что меня выдвигают в депутаты Верховного Совета РСФСР. От города Пензы. Завтра выезжаю туда на встречу с избирателями.

До чего же хотелось в тот момент поверить, что злоеущие тучи над головой Кольцова рассеялись. Эту надежду укрепило вскоре и то обстоятельство, что брат был срочно командирован спецкором «Правды» в Чехословакию, над которой после известного мюнхенскогоговора нависла угроза гитлеровской агрессии. Кстати сказать, прилет Кольцова в Прагу не остался незамеченным на Западе, где появление хорошо известного по событиям в Испании советского журналиста расценили как признак готовящегося в Чехословакии решительного сопротивления нацистской угрозе. Но этого, как известно, не случилось. И на долю Кольцова снова пришла горькая журналистская доля — рассказать о трагедии мужественного, свободолюбивого народа, преданного своими западными союзниками, скованного по рукам и ногам трусостью своих руководителей. Вскоре спецкора «Правды» отзывают в Москву.

И снова внешне ничего плохого не происходит. Кольцов много и активно работает на всех своих постах. Трудится над продолжением «Испанского дневника».

И всё же... Всё же... Всё же...

— Не могу понять, что произошло, — говорит мне брат, — но чувствую: что-то переменялось. Откуда-то дует этакий ледяной ветерок.

— Но в чем это выражается? В чем? — допытывался я.

— Черт его знает. Конкретно ни в чем. Но я вижу, я чувствую это по Мехлису.

— Мехлис? Но ведь он так с тобой дружен! Твой вроде брат. (Миша мне как-то рассказывал, что Мехлис, с чего-то расчувствовавшись, объявил ему: «Михаил! У меня никогда не было братьев, и ты мне все равно как родной брат!»)

— Да, Мехлис. Я вижу, я чувствую это по его улыбочкам, по его безукоризненно нежному обращению. Кстати, на днях была замечательная сценка. Мехлис зачем-то приехал из ПУРа в «Правду». Сидим у меня в кабинете, разговариваем, и он вдруг говорит: «А знаешь, Миша, надо очень и очень присмотреться к Августу Потоцкому. Это, безусловно, замаскированный враг. Я обомлел.— Что ты, Лев?— говорю.— Август? Этот честнейший, преданнейший большевик? Старый правдист, политкаторжанин?— Да, да, Миша,— отвечает Мехлис нетерпеливо и злобно,— именно он, «честнейший и преданнейший». Именно из таких, как ты говоришь, «честнейших» царская охранка вербовала провокаторов!»— Я не знал, что сказать. Буквально отнялся язык. И в эту минуту вошел... Август с газетными полосами на подпись. Ты бы видел, как мгновенно и жутко изменилось лицо Мехлиса, как приветливо и ласково он заговорил: «А-а...Товарищ Август! Рад вас видеть. Как поживаете, дорогой? Как здоровье?— Спасибо! Старею, товарищ Мехлис, старею...— Ну, что вы, товарищ Август! Вам еще рано стареть! Вон вы какой богатырь. Еще поработаете для «Правды», для партии!— Спасибо, товарищ Мехлис, на добром слове, спасибо...». Август был явно взволнован и растроган. Наверное, он еще долго ходил потом под приятным впечатлением этого разговора, кому-то, наверное, рассказывал: «Какой все-таки замечательный человек Лев Захарович! Какой чудесный товарищ, чуткий, душевный! Как он меня приободрил!» А ведь Август, видимо, уже конченный человек. Это вопрос дней...

И брат невесело добавил:

— Да-а... Вот так это делается...

Да, именно таков был стиль. Может быть, судьба Кольцова была уже решена, когда примерно в то же время на спектакле в Большом театре он был приглашен в правительственную ложу, где х о з я и н вполне дружелюбно высказывал ему некоторые соображения по содержанию «Правды», давал какие-то указания. Потом брат, как всегда, рассказывал мне подмеченные им маленькие детали, вроде того, что у него появились золотые зубы, а мягкие сапоги с короткими голенищами и заправленными в них широкими штанами придавали ему «какой-то турецкий вид».

Х о з я и н был в хорошем настроении, благодушно шутил с окружающими с о р а т н и к а м и. Когда Ворошилов, тоже, видимо, для поддержания веселой атмосферы, обратился к нему по имени-отчеству, Сталин, смеясь, спросил:

— Ты зачем это меня обругал?

На что Ворошилов осмелился ответить:

— Это тебя уже с детства так обругали, товарищ Сталин!

И все дружно рассмеялись. А когда х о з я и н в какой-то фразе выразился «нам, старикам», то раздался громкий протестующий возглас Феликса Кона:

— О чем вы говорите? Да вы же молодой человек!

Сталин добродушно возразил:

— Какой там «молодой человек»? У меня две трети волос — седые.

Кто знает? Может быть, именно в этот день среди «материалов» на Кольцова, которые легли на стол Сталину, х о з я и н подчеркнул поддержку из «Испанского дневника», где Кольцов рассказывает, как он под видом аргентинского журналиста посетил в Мадриде штаб троцкистской организации ПОУМ, и дает при этом убедительную характеристику ее антисоветской и провокаторской деятельности. Нетрудно представить себе ход мыслей х о з я и н а:

— Очевидно, о чем-то там договаривался. Прослеживается прямая линия — от печатания портретов Троцкого в «Огоньке» до изменнического сговора с троцкистами в Мадриде. А, кстати, кто поручал ему ходить в этот ПОУМ? Не слишком ли инициативен и самостоятелен? Не слишком ли приток? Опасен.

...Итак, по непонятному капризу х о з я и н а меня «не тронули». Но из этого отнюдь не следовало, что я мог продолжать свою работу в печати.

Это стало мне особенно ясно после разговора с исполнявшим тогда обязанности редактора «Известий» Я. Г. Селихом. То был человек, много лет друживший и с Кольцовым, и со мной, доброжелательный и честный.

Тщательно прикрыв дверь кабинета, он посокрушался по поводу происшедшего, хотя как-то осторожно, избегая каких-либо определенных суждений и позволяя себе только общего характера восклицания.

— Что же такое он мог сотворить? — говорил Селих, расхаживая по кабинету. — Что ему было нужно? Чего он хотел?

— Чего он хотел? — с горечью переспросил я. — Думаю, Яков Григорьевич, что он, как всегда, хотел выполнить любое, трудное и опасное поручение партии, рискнуть жизнью, отличиться, как в Испании... Разве вы не знали его характер, Яков Григорьевич? Его журналистский азарт, темперамент?

— Да, да... Это все, конечно, так... Но, вот видите, какая история... — проговорил Селих, покачав головой, и мрачно задумался.

— Яков Григорьевич! — прервал я наступившее молчание. — Мне что, подавать заявление «по собственному желанию»?

Селих встрепенулся:

— Какое заявление? Какое желание? — закричал он. (Надо сказать, что добрейший Яков Григорьевич обладал необычайно зычным голосом

и когда говорил, то его было хорошо слышно во всех кабинетах и коридорах редакции.) Кто вам сказал? Идите спокойно домой и приходите после Нового года. Тогда и поговорим.

В один из первых дней 1939 года я снова сидел в кабинете Селиха. Он был так же дружелюбен, но уже не сокрушался.

— Вот что я вам скажу,— многозначительно и почти торжественно начал он.— О вашей работе в «Известиях» мы ничего плохого, кроме хорошего, сказать не можем. И потом, кто в конце концов знает, что Борис Ефимов — это брат Михаила Кольцова?

— Ну, Яков Григорьевич, это довольно широко известно.

— Да бросьте вы! — загремел Селих.— Об этом знают каких-нибудь сто человек в Москве, а наша газета имеет миллионный тираж.

Такое начало разговора звучало обнадеживающе. «Наверно,— подумал я,— относительно меня запросили, где надо, и получили благоприятный ответ».

— Но если меня спросят,— продолжал Селих,— будем ли мы вас печатать в «Известиях», то я отвечу: нет, не будем.

Я обалдело уставился на Селиха, несколько ошарашенный таким неожиданным выводом.

— Да, не будем. И вы это сами хорошо знаете. Но мы вас ни к чему не принуждаем. Хотите — сами пишите заявление, хотите — мы вас просто освободим.

Я слушал Селиха, надо сказать, без всякого удивления или тем более каких-либо возражений. Мы были тогда еще очень далеки от понимания происходящих в стране событий, многое еще было плотно закрыто пеленой тайны, еще никто и слыхом не слыхивал о таком понятии, как «культ личности», но кое-какой опыт за прошедшие месяцы был уже накоплен. И я отлично понимал, что Селих говорил и поступал в духе времени. И любой другой на его месте, будь он добрый или злой, участливый или равнодушный, смелый или трусоватый, говорил и поступал бы точно так же. Главное было в том, что мы давно освоились и сжились с незбылемым и не подлежащим обсуждению положением: гениальность и мудрость Сталина, его абсолютная и непререкаемая правота всегда, везде и во всем полностью и безоговорочно заменяют все прежние укоренившиеся понятия, такие, как здравый смысл, логика, справедливость, законность, человечность.

...Помолчав, я сказал:

— Я напишу заявление, Яков Григорьевич.

Так я, проявив похвальное понимание, вполне добровольно, «по собственному желанию» оставил работу, которую я любил и в которую вкладывал, как говорится, всю душу. «По собственному желанию» я покинул ряды художников-публицистов, бойцов политической сатиры, в которые вступил еще в годы гражданской войны, «революцией мобилизованный и призванный», а ныне, после двадцатилетней службы досрочно демобилизованный, а попросту говоря, от этой работы отстраненный.



Я сам себя сравнивал тогда со случайно отставшим от поезда пассажиром, который, уныло проводив глазами исчезающий вдаль вагон, где он только что сидел в приятной компании дружелюбных спутников, растерянно оглядывает пустынный полустанок, на котором внезапно очутился. Его одолевают мрачные раздумья. Удастся ли сесть в следующий поезд? И скоро ли представится такая возможность? И где найти пристанище и средства к существованию?

Придерживаясь этого сравнения, скажу, что мне ох как нескоро удалось сесть в «следующий поезд». «Кондуктора» и «проводники» проходящих «поездов» не обнаруживали ни малейшего желания предоставить мне место. А если отказаться от литературных метафор, то скажу простыми словами: никто не хотел рисковать. Никто из повстречавшихся мне откровенных или более деликатных перестраховщиков не жаждал брать на себя ответственность за предоставление работы брату арестованного — не какой-нибудь там мелкой сошки, а столь известного и потому, вероятно, крупного «врага народа». Никто из них не был намерен пошевелить для меня пальцем, не получив на это «добро» свыше.

А сколько, бог ты мой, перевидал я в ту пору различных приемных, справочных бюро, комендатур и тому подобных угрюмых мест, где после многочасового стояния в очереди получал возможность полутораминутного и, как правило, пустопорожнего разговора с принимавшим посетителей лицом, которое, кстати сказать, само абсолютно ничего не знало. Периодически подавал я какие-то бессмысленные заявления с просьбами о передаче брату, скажем, теплых вещей, предметов гигиены, лекарств и тому подобного, заявлений, которые у бериевских подручных, безусловно, ничего, кроме издевательского смеха, не вызывали. Впрочем, денежные передачи — 30 рублей в месяц — у меня принимали, и это было для меня единственным свидетельством, что брат жив. Кроме того, я, быть может, наивно, рассчитывал, что Миша при получении денег видит мою тщательно выведенную на квитанциях подпись, говорящую о том, что я остался на свободе.

Между прочим, вначале мне пришлось преодолеть существенное, хотя и чисто формальное затруднение: фамилии-то у нас разные, и поэтому сразу возникал строгий вопрос: «А какое, собственно, вы имеете отношение к Кольцову и почему о нем спрашиваете?»

Не без труда удалось мне «выбить» в отделе кадров «Известий» документ, довольно необычный по тем временам, когда всякое небезопасное родство тщательно скрывалось:

Москва, 4 января 1939 года

## СПРАВКА

Дана тов. ЕФИМОВУ Б. Е. в том, что в его автобиографии, находящейся в делах редакции «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», значится, что он является братом Кольцова М. Е.

ЗАВЕД. ОТД. КАДРОВ  
(Чемыхина)

Мне кажется, что этот документ — своего рода шедевр. Как видим, отдел кадров тут ничего не утверждает и ни за что не отвечает. Он просто констатирует, что в моей автобиографии значится то-то и то-то. И не более того. Тем не менее эта замечательная справка свое дело сделала и верно служила мне в моих хождениях.

К этому следует добавить: людей, которые в тот «жестокий век» решились бы конкретно, практически помочь «родственнику репрессированного», было, конечно, очень мало. Но надо, мне кажется, поминать не малодушных — бог с ними, а говорить о тех, чье молчаливое, но безошибочно ощутимое сочувствие было в ту пору так дорого. Оно помогало выстоять. И с особой благодарностью я хочу назвать замечательного человека — И. С. Зильберштейна, который со свойственным ему неистовым напором смог уговорить директора Государственного литературного музея В. Д. Бонч-Бруевича заказать мне серию рисунков к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина, что неоценимо поддержало меня в ту тяжелую пору морально и материально. Вот уж поистине — друзья познаются в беде. И я, как говорится, по гроб жизни не забуду столь редкого по тем временам поступка Ильи Самойловича.

Не забуду красноречивого молчаливого участия в черных глазах Евгения Петрова и его долгого рукопожатия, когда я, уже в дни войны, зашел в «Огонек», редактором которого он был назначен вместо Кольцова.

Не забуду такого же выразительно-крепкого рукопожатия Константина Симонова, когда мы с ним познакомились на прифронтовых дорогах Подмосковья в феврале 1942-го.

Помню, как, прочтя в «Красной звезде» очерк о боях на улицах Сталинграда под названием «Глазами Чехова» и встретив в коридоре редакции его автора, Василия Гроссмана, я как-то не смог сдержать своих чувств и сказал ему: «Я хочу вам сказать, Василий Семенович... Так бы, мне кажется, написал об этом... Кольцов...» — Гроссман молча посмотрел на меня своими большими печальными глазами поверх очков. Положил мне руку на плечо. Тяжело вздохнув, он пошел дальше.

Не забуду, как в самолете, в котором летела из Москвы на Нюрнбергский процесс группа советских писателей и журналистов, ко мне вдруг подошел Всеволод Вишневский, взволнованно обхватил руками. «Эх, — прошептал он, — вспомнил я... Как мы с твоим Михаилом... в Испании...» Он замолчал, глаза его увлажнились. Я молча сжал его руку.

Да что говорить... Все годы, прошедшие после 13 декабря 1938 года, люди старались чем-нибудь неуловимым, но достаточно понятным выразить свое абсолютное неверие во «вражескую деятельность» Кольцова. Спасибо им.

...Аккуратно, три раза в месяц, я приходил в извилистый проходной двор, соединяющий Кузнецкий мост с Пушечной улицей, и входил в невзрачную дверь, на которой висела табличка с маловразумительной над-

писью: «Помещение № 1». В этом «помещении» через крохотное окошко я вносил на имя Кольцова Михаила Ефимовича установленную сумму, расписывался и получал квитанцию.

Мне хотелось при этом думать, что эти медленно тянущиеся месяцы — хороший показатель. Видимо, есть намерение серьезно и терпеливо разобраться в деле Кольцова и брату удастся опровергнуть клеветнический наговор. Мы тогда еще не понимали, что сам факт ареста уже предreshал судьбу человека. И я не мог знать, что брат находится в руках пресловутого Шварцмана, одного из самых лютых извергов, следователей-садистов, натренированных на выбивании «признания».

Шли месяцы...

И вот где-то в начале февраля 1940 года денег у меня не приняли, сообщили, что дело Кольцова следствием закончено и передано в Военную коллегию Верховсуда.

Я понял, что наступили решающие дни. Не будучи в состоянии сидеть сложа руки, я заметался, как в лихорадке, наивно пытаясь что-нибудь предпринять. Известный московский адвокат Иль'я Браудэ, участник ряда громких политических процессов 37-го года, посоветовал добиваться допущения к слушанию дела Кольцова защитника и предложил свои услуги. Без особой надежды на успех я все же написал письмо председателю Военной коллегии Верховного суда СССР, небезызвестному В. В. Ульриху с просьбой принять меня по этому вопросу. Сгоряча я решился и на более серьезный шаг: направился на Центральный телеграф на улице Горького, составил телеграмму с просьбой разрешить участие защиты в деле Кольцова и отправил ее на имя... Сталина...

Прошло несколько дней. Ответа ниоткуда не было. На всякий случай я решил справиться в Военной коллегии, находившейся в доме возле памятника первопечатнику Ивану Федорову.

Дежурный сотрудник повел пальцем по страницам толстой книги.

— Кольцов Михаил Ефимович? 1898 года рождения? Есть такой. Приговор состоялся первого февраля. Десять лет заключения в дальних лагерях без права переписки. Следующий...

В тот же день, к моему глубокому удивлению, мне позвонили из секретариата Военной коллегии и сообщили, что Ульрих меня примет.

...В огромном кабинете, усталанном ковром, стоял у письменного стола маленький лысый человек с розовым лицом и аккуратно подстриженными усиками. Ульрих был видной фигурой того времени. В течение многих лет он возглавлял Военную коллегию, председательствовал на всех крупных политических процессах двадцатых-тридцатых годов.

Принял он меня со снисходительным добродушием, явно рисуясь своей «простотой» и любезностью.

— Ну-с,— улыбаясь заговорил он, садясь в кресло,— садитесь, пожалуйста. Так чего бы вы от меня хотели?

— Откровенно говоря, Василий Васильевич, я и не знаю, чего теперь хотеть. Дело в том, что я собирался просить вас о допущении за-

читника к слушанию дела Кольцова, но третьего дня узнал, что суд уже состоялся. Как обидно, что я опоздал!

— О, можете не огорчаться, — ласково сказал Ульрих, — по этим делам участие приглашенных защитников не разрешается. Так что вы ничего не потеряли. Приговор, если не ошибаюсь, — десять лет без права переписки?

— Да, Василий Васильевич. Но позвольте быть откровенным, — осторожно сказал я. — Существует, видите ли, мнение, что формула «без права переписки» является, так сказать, символической и прикрывает нечто совсем другое...

— Нет, зачем же, — невозмутимо ответил Ульрих, — никакой символики тут нет. Мы ведь, если надо, даем и пятнадцать, и двадцать, и двадцать пять. Согласно предъявленным обвинениям.

— А в чем его обвиняли?

Ульрих задумчиво устремил глаза к потолку и пожал плечами.

— Как вам сказать, — промямлил он, — различные пункты пятьдесят восьмой статьи. Тут вам, пожалуй, трудно будет разобраться.

И далее наша беседа приняла характер какой-то странной игры. Ульрих твердо придерживался разговора на темы литературы и искусства, высказывал свои мысли о последних театральных постановках, спрашивал, над чем работают те или иные писатели и художники, интересовался, какого мнения о нем «писательская братия», верно ли, что его улыбку называют «иезуитской», и т. п. Все мои попытки узнать что-нибудь о брате он встречал благодушной иронией.

— Ох, обязательно вы хотите что-нибудь у меня выведать, — приговаривал он, посмеиваясь.

Я уже понял, что мой собеседник просто-напросто забавляется нашей беседой, но продолжал вставлять интересующие меня вопросы. Однако все, что я узнал, это что председательствовал на суде над Кольцовым лично он, Ульрих, и что «выглядел Кольцов, как обычно, разве только немного осунулся...».

— А он признал себя виновным? — спросил я.

Ульрих юмористически погрозил мне пальцем.

— Э, какой вы любопытный, — сказал он со своей «знаменитой» улыбочкой и после маленькой паузы добавил: — Довольно ершистый у вас братец. Колочий. А это не всегда бывает полезно...

Потом помолчал и, став вдруг серьезным, сказал:

— Послушайте. Ваш брат был человеком известным, популярным. Занимал видное общественное положение. Неужели вы не понимаете, что если его арестовали, значит, на то была соответствующая санкция?

Яснее нельзя было дать понять, что все мои вопросы, расспросы и хлопоты не только наивны, но и бессмысленны. Разговор явно пришел к концу. Я поднялся с места. Однако мой словоохотливый собеседник снова начал балагурить.

— А вот мне хорошо, — болтал он, выйдя из-за стола и прохаживаясь по громадному ковру, — никаких у меня нет братьев и вообще ника-

ких родственников. Был вот отец, и тот недавно умер. Ни за кого не надо беспокоиться и хлопотать не надо. Да... Ну-с, а вам я советую спокойно работать и поскорее забыть об этом тяжелом деле. А брат ваш,— доверительно прибавил он,— думаю, находится сейчас в новых лагерях за Уралом. Да, наверно, там.

Уже выходя из кабинета, я остановился в дверях.

— Василий Васильевич,— сказал я,— а вы разрешите через какое-то время вернуться к этому делу, ходатайствовать о его пересмотре?

В водянистых глазах Ульриха мелькнула усмешка.

— Конечно, конечно,— сказал он.— Через какое-то время...

Я довольно слабо верил в искренность Ульриха, хотя его любезное обхождение показалось мне хорошим признаком и уходил я от него с некоторой надеждой, что судьба Миши может еще повернуться к лучшему.

А между тем Миши уже не было в живых...

Мог ли я знать, что немногим больше месяца тому назад, после двадцатиминутного «разбирательства» Ульрих приговорил Кольцова к расстрелу и этот приговор был приведен в исполнение на следующий же день, 2 февраля 1940 года.

Мог ли я догадаться, что благодушные ответы Ульриха на мои робкие расспросы были не чем иным, как бесстыдной ложью, утонченным издевательством, доставлявшим этому палачу в генеральском звании «армвоенюриста» подлое садистское удовольствие.

Некоторые подробности «процесса» Кольцова стали теперь известны из материалов и протоколов Военной коллегии, опубликованных 4 мая 1988 года в «Литературной газете». Они жутко дополняют мою беседу с Ульрихом.

Вот часть этих материалов в изложении известного публициста А. Ваксберга:

«Залом заседаний» Военной коллегии служил кабинет Берии в Лефортовской тюрьме. Места за столом заняли трое военных. Председательствовал неутомимый Василий Ульрих, уроженец Риги, маленький лысый человек с розовым лицом и подстриженными усиками — так рисует его портрет один очевидец. К тому времени Ульрих пробыл во главе Военной коллегии почти четырнадцать лет.

Рядом с ним сидели в тот день двое других, совершенно безвестных судей — Кандыбин и Буканов.

Человека, которого первым ввели в «зал заседаний», судьи знали отлично. Впрочем, совсем никому не знакомых туда вообще не вводили. Ульрих судил знаменитостей. Но этого подсудимого знали не только судьи — знала страна. И по имени, и в лицо. Его снимки множество раз публиковались на газетных страницах, кинохроника, заменявшая тогда телевидение, представляла его на борту самолета-гиганта, на испанской земле — под фашистскими бомбами, на полях и в шахтах, на солдатских учениях и театральных премьерах.

Это был Михаил Кольцов, известнейший публицист, член редколлегии «Правды», депутат Верховного Совета РСФСР, член-корреспондент Академии наук СССР. Бывший, бывший... Ибо теперь он был заурядным шпионом. Агентом трех разведок — германской, французской, американской. Членом антисоветского подполья с двадцать третьего года, «пропагандировавшим троцкистские идеи и популяризовавшим руководителей троцкизма», террористом с тридцать второго... Признавшимся абсолютно во всем... Так было сказано в обвинительном заключении, уместившемся на двух с половиной страницах.

— Желаете чем-нибудь дополнить? — спросил подсудимого Ульрих.

— Не дополнить, а опровергнуть, — сказал Кольцов. — Все, что здесь написано, — ложь. От начала до конца.

— Ну как же ложь? Подпись ваша?

— Я поставил ее. После пыток... Ужасных пыток...

— Ну вот, теперь еще вы будете клеветать на органы... Зачем усугублять свою вину? Она и так огромна...

— Я категорически отрицаю... — начал Кольцов, но Ульрих прервал его:

— Других дополнений нет? Расстрел, — привычно произнес Ульрих. Подсудимому не дали вымолвить слова: за дверью ждала уже вызова новая жертва...

Тогда, в 1940 году, я всего этого, естественно, не мог знать. И продолжал надеяться на освобождение брата, на его возвращение к работе, к жизни. Человеческой природе свойственна потребность верить в лучшее. И мне хотелось верить, что Миша пройдет через эти испытания. Ведь в конце концов 10 лет — не такой уж большой срок. По прошествии его брату будет только 52 года. Это еще не старость...

Надо сказать, что такие мои надежды сильно укрепило одно немаловажное обстоятельство: в один из дней того же февраля 1940 года, почти одновременно с окончанием следствия по «делу Кольцова», мне позвонили из газеты «Труд» и предложили в ней работать. Незачем говорить, как я обрадовался. Прежде всего я увидел в этом некий добрый показатель, касающийся Кольцова. Может быть, это предвестник его оправдания и освобождения? К тому же я дико соскучился по живой, оперативной газетной работе, и буквально со следующего дня после этого звонка мои рисунки стали чуть ли не ежедневно появляться на страницах «Труда».

Но брата не освободили.

И я не знал, была ли между этими двумя фактами — осуждением Кольцова и предоставлением мне ранее запрещенной работы в печати — прямая причинная связь. Но если была, то нельзя не ужаснуться некой непредсказуемой капризности, оборачивающейся то лютой жестокостью, то непонятной благосклонностью.

Мое возвращение в строй политических карикатуристов было замечено не только коллегами и читателями. В германской газете «Франк-

фуртер альгемайне цайтунг» мне были уделены следующие любезные строки: «В «Труде» снова вынырнул после длительного молчания уже считавшийся покойным циник Борис Ефимов».

То было в канун больших и грозных событий. Великая, небывалая война стояла у порога Родины.

С первых дней Отечественной войны мои надежды вспыхнули с новой силой. Меня ни на минуту не оставляла мысль: может ли быть, чтобы в тяжелую годину, когда для отпора свирепому и опасному врагу нужен каждый талантливый и смелый человек, может ли быть, чтобы в строй военных писателей не вернули испытанного работой в Испании боевого правдиста, как в ряды армии вернули многих ранее репрессированных военных деятелей.

Я живо представлял себе, с какой радостью и с какой страстью включился бы Кольцов в борьбу против ненавистного ему фашизма, как достойно встал бы он в ряды писателей-фронтовиков плечом к плечу с Алексеем Толстым, Всеволодом Вишневским, Константином Симоновым, Ильей Эренбургом, Василием Гроссманом, Борисом Полевым и другими. Сколько бичующих лютого врага памфлетов, сколько волнующих, ярких корреспонденций и очерков было бы передано им с передовых линий действующей армии, и из партизанских районов, и с оборонных заводов глубокого тыла.

Конечно, этими мыслями я ни с кем не делился. В те времена их следовало держать при себе. Ведь если любой человек, при любых обстоятельствах потерявший отца или брата, мог с печалью о них вспоминать, рассказывать, горевать, то те, чьи родные были репрессированы, такого права были лишены. Им полагалось обходить имена близких людей молчанием, делать вид, будто их никогда и на свете не было, поминать их только в соответствующей графе различных анкет. Ведь немало было бдительных товарищей, в глазах которых родственники репрессированных являлись элементом подозрительным и маложелательным.

Мне как-то рассказывал журналист Л. Железнов, в годы войны редактор «Фронтowej иллюстрации», как, просматривая свежий номер этой газеты, начальник Главного политуправления РККА Л. Мехлис наткнулся на мой рисунок и нахмурился.

— Ефимов? — сказал он. — Гм?.. А как он работает? Нет ли в нем червоточинки?

— По-моему, работает неплохо, — ответил Железнов.

— Вы считаете? — недовольно сказал Мехлис. — Гм... Посмотрим.

Нет, во мне не было ни малейшей «червоточинки» во всем, что касалось моей службы стране оружием своего искусства, патриотического долга советского художника. Но меня не мог не терзать червь лютой досады и горечи за судьбу брата. И одновременно во мне не иссякал тоненький ручеек надежды, которую питали систематически доходявшие до меня слухи о брате. Не знаю, где и из каких источников они рождались, но их настойчивость, разнообразие и внешнее правдоподобие за-

ставляли меня, вероятно, в силу какой-то внутренней психологической потребности им верить.

Существует предположение, что соответствующими органами был придуман, запущен и безотказно действовал многие годы механизм целенаправленных слухов. До родных и друзей время от времени доходили известия: лишенный права переписки жив и здоров, находится там-то и даже — со счастливой оказией — передает своим близким горячий привет.

Может быть, это и не соответствует действительности, но мы верили...

Да и как было не верить, если, например, художник Михаил Храповский, сотрудник «Крокодила», тоже в свое время осужденный, но вышедший на свободу, рассказал мне, что встретился с Кольцовым, которого он, естественно, ни с кем не мог спутать, на этапе в Саратове. Кольцова пересылали из лагеря в Москву, и брат сказал, что ничего хорошего он от этой пересылки не ждет. Это было летом 1942 года. Позже железнодорожник Павел Голубков разыскал меня, чтобы рассказать, что он видел Кольцова возле вагона-типографии на Воркутинской железнодорожной ветке. Голубков еще задолго до войны служил курьером в редакции «Огонька» и, конечно, не мог не узнать своего редактора. Журналист Михаил Берестинский, вернувшийся из поездки в Свердловск, рассказывал, что начальник расположенных в тех краях лагерей, будучи зачем-то в редакции местной газеты, «хвалился» тем, что у него в клубе работает известный автор «Испанского дневника». Почти одновременно приходит весть с противоположного конца страны — из Соловков — о том, что Кольцов находится там и кому-то, между прочим, рассказывал в подробностях содержание романа, который он задумал и даже частично написал в заключении...

И так далее, и так далее. Я уже начал относиться к этим рассказам с известной долей скептицизма, но вместе с тем твердо верил, что Миша жив, не теряет мужества и вот-вот появится.

Вот почему я почти не удивился, когда в июне 1944 года кто-то мне сказал, что в Союзе писателей имеются какие-то интересные сведения о Кольцове, исходящие от писателя Михаила Слонимского. Слонимский мне сказал, что слышал об этом от Анны Караваевой. Караваева ответила, что ей поведал о Кольцове приехавший в Москву на совещание председатель саратовской писательской организации А. Матвееenko. Я вихрем помчался в Дом Герцена, где происходило совещание, и сразу нашел Матвееenko, представителя, сидящего мужчину. От него я услышал следующее:

— Совсем недавно по делам саратовского Союза писателей я был в Куйбышеве у начальника политуправления Приволжского военного округа. Поговорили о разных вопросах, и в заключение он мне говорит: «А вы знаете, тут у нас находится один ваш собрат по перу». «Кто такой?» «Михаил Кольцов». «Что вы говорите? Какой? Тот самый?». «Да, тот самый. Который был в Испании. Наверно, читали «Испанский дневник»?». «Удивительно,— говорю я,— а что он здесь делает?» «А он нахо-



дится здесь, — говорит генерал, — во 2-м офицерском полку на переподготовке после ранения под Брянском. Имеет звание старшего лейтенанта. Если хотите, можете с ним поговорить». Генерал взялся за телефон, соединился с каким-то номером и велел вызвать к телефону старшего лейтенанта Кольцова. Через некоторое время он передал мне трубку. А я, знаете, не был лично знаком с вашим братом и несколько растерялся: о чем говорить? Спрашиваю: «Это товарищ Кольцов?» — «Да, Кольцов». — «Михаил Кольцов?» — «Да, Михаил Кольцов». — «Э-э... Значит, сейчас вы находитесь здесь?» — «Да, как видите, здесь». — «А вы... э... что-нибудь сейчас пишете?» На это он ответил что-то невнятное, и трубка была положена. Вот и все, что я могу вам рассказать.

Я выслушал Матвеевко со смешанным чувством надежды и вместе с тем недоумения.

С одной стороны, мне представлялось маловероятным, чтобы крупный военный работник, генерал, мог без достаточных к тому оснований и соответствующих документов принять какого-нибудь случайного человека за известного всей стране журналиста, члена редколлегии «Правды», депутата Верховного Совета РСФСР и пр.

С другой — я не допускал мысли, что, находясь на свободе, Миша не дал бы о себе знать.

Тут случилось так, что в эти же дни одна знакомая журналистка собралась по командировке от своей редакции в Куйбышев. Я попросил ее выяснить на месте, насколько достоверны сведения о брате. Она вернулась с ошеломляющей информацией: во-первых, оказалось, что в редакции местной газеты «Волжская коммуна» уже давно знают о том, что знаменитый Михаил Кольцов находится в одной из воинских частей ПРИВО. Во-вторых, и это особенно важно, ей удалось встретиться и поговорить с неким подполковником Лукьяновым, командиром 2-го офицерского полка. Лукьянов, хотя и несколько туманно, подтвердил, что в его полку, в 5-м батальоне, служит старший лейтенант Кольцов. И даже спросил при этом: «А правда, что художник Борис Ефимов из «Красной звезды» его родной брат?»

У меня почти не оставалось сомнений. Однако молчание Миши представлялось непонятым, и я решил еще раз проверить факты.

О том, что было дальше, лучше всего, пожалуй, расскажут подлинные документы.

## НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ СВЯЗИ СССР

Фототелеграмма

Адрес: Куйбышев (Областной) Штаб  
ПРИВО подполковнику Лукьянову

Уважаемый тов. Лукьянов!

Разрешите обратиться к Вам с просьбой. Я уже давно не имею известий от своего брата ст. лейт. КОЛЬЦОВА Михаила Ефимовича, 1898

года р. Насколько мне известно, он находился в Вашем распоряжении с августа 1943 г. по март 1944 г. в 5-м батальоне 2-го Офицерского полка запаса.

Прошу не отказать в просьбе сообщить мне, когда и куда он от Вас убыл. Мой адрес: Москва, редакция газеты «Красная звезда», ул. Чехова, 16. Бор. Ефимову. С приветом художник Бор. Ефимов.

Через несколько дней фототелеграмма вернулась ко мне со следующей сопроводительной запиской:

Тов. Ефимов

Возвращаю Вашу фототелеграмму обратно и сообщая, что в отделе кадров ПРИВО подполковника Лукьянова не значится, а также ст. лейтенанта Кольцова М. Е. найти по учету в отделах кадров не могли и 2-го офицерского полка в ПРИВО нет.

С приветом

Нач. экспедиции штаба ПРИВО  
ст. л-т а/с А. Капелина

Нетрудно себе представить мое ошеломление. Как так? Что это значит? Что за наваждение? Неужели и рассказ Матвеевко, и разговор с «подполковником Лукьяновым» — все это плоды воображения или недоразумения? Непостижимо! Я решил предпринять еще одну попытку и обратился к милейшему Николаю Александровичу Таленскому, ответственному редактору «Красной звезды», который пошел на весьма смелый по тем временам поступок.

СЕКРЕТНО

2-й офицерский полк запаса  
Приволжского военного округа  
Командиру полка

Прошу сообщить, действительно ли с сентября 1943 г. по март 1944 г. проходил службу в 5-м батальоне вверенного Вам полка старший лейтенант КОЛЬЦОВ Михаил Ефимович, рождения 1898 года, гор. Киев, а также куда и когда убыл.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Н. ТАЛЕНСКИЙ

Вскоре вернулся в редакцию и этот секретный пакет. К нему был прикреплен миниатюрный квадратик бумаги с лаконичным текстом: «Редакция газеты «Красная звезда». В ПРИВО такой части нет».

Странную историю со «старшим лейтенантом Кольцовым» можно было, по-видимому, считать исчерпанной.

Однако я ошибся — она получила свое не менее странное продолжение спустя почти три десятилетия. В январе 1972 года я получил следующее письмо.

Художнику Б. ЕФИМОВУ  
Москва, газета «Известия»

На днях в одной старой газете я прочел статью о жизни и литературно-общественной деятельности М. Е. Кольцова. В связи с этим вспомнилось прошлое.

В годы войны, будучи на военной службе в политуправлении Приволжского военного округа (Куйбышев), однажды в экспедиции штаба ПРИВО я ознакомился с фототекстом Вашего письма, в котором Вы запрашивали о службе Вашего брата Михаила Кольцова, что меня очень тогда заинтересовало, но в тот год я считал нецелесообразным Вас беспокоить.

В день моего дежурства в приемной начальника ПУ ПРИВО мне позвонили и сказали, чтобы я заказал пропуск М. Кольцову. Исполнив это, я стал ожидать прихода известного человека.

Хочется спросить, служил ли в частях Приволжского военного округа (г. Кинель) ваш брат?

Извините за беспокойство.

С уважением

Н. Л. ИВАНОВ

Воронеж, улица Комиссаржевской, д. 1, кв. 65.  
Иванов Николай Лукич, инженер-майор в отставке  
3 января 1972 года

Я немедленно написал Н. Л. Иванову в Воронеж.

Уважаемый Николай Лукич!

Сведения о том, что мой брат — Михаил Кольцов — проходит военную службу в частях ПРИВО, исходили от писательской организации Саратова. Проверить правильность этих сведений тогда, в 1944 году, не удалось. В частности, на свою фототелеграмму, которую Вы видели, определенного ответа я не получил. И мне по сей день неизвестно, кто был человек, которого принимали за Михаила Кольцова.

В своем письме Вы сообщаете, что заказали пропуск М. Кольцову и стали «ожидать прихода известного человека».

Поэтому я, в свою очередь, обращаюсь к Вам с вопросом: дождался ли Вы этого человека, видели ли его? Можете ли вы описать его внешность, приметы? И еще вопрос: знали ли Вы в частях ПРИВО подполковника Лукьянова, которому был адресован мой запрос о брате?

Буду весьма благодарен за ответ.

С товарищеским приветом

Б. ЕФИМОВ,  
народный художник СССР

С понятным нетерпением стал я ждать ответа на свое письмо. С новой силой возникли во мне волнения, сомнения и надежды 30-летней давности. Мне думалось: не прошла ли тогда мимо меня редчайшая возможность найти брата, узнать о его судьбе?

Ответа долго не было. И наконец...

Многоуважаемый Борис Ефимович!

Извините, что ответ пишу с опозданием. Посылал письмо в г. Куйбышев, обращался к знакомым, хотел узнать о подполковнике тов. Лукьянове, о котором Вы упоминаете в своем письме. Сообщили, что он им также неизвестен.

Будучи дежурным офицером в приемной начальника политуправления ПРИВО, я действительно заказывал пропуск на имя Михаила Кольцова. С большим волнением ожидал его прихода. Вспомнил прошедшие годы, когда мы, читатели, с интересом читали очерки, фельетоны, статьи любимого и популярного автора.

Когда он пришел в приемную, я внимательно, с переживанием смотрел на редкого посетителя, видел его исхудалое и бледное лицо. Он был в звании лейтенанта, в хлопчатобумажном полевом офицерском костюме. Он был небольшого роста, весьма подвижным, очень энергичным, целеустремленным. Оставалось впечатление, что его беспокоит, даже волнует весьма важное дело. И такое переживание человека сочеталось с простотой, привлекательностью, что убеждало меня в том, что это действительно был сам Михаил Ефимович Кольцов.

Но...вспомнив газетные и журнальные фотографии М. Е. Кольцова и сравнив их с внешним видом посетителя, я усомнился, хотя думы, что он пережил тяжелое, которое могло изменить внешность любого человека, снова возвращали к моему первому заключению.

В тот памятный день М. Кольцов был принят начальником политического управления Приволжского военного округа. Беседа продолжалась примерно 30—40 минут, но ее содержание мне было неизвестно.

В моем личном архиве сохранился экземпляр газеты «Правда» 1934 года, посвященный полярной экспедиции «Челюскина». На страницах исторического номера газеты — центрального органа нашей партии напечатан очерк М. Е. Кольцова «Секрет успеха». Прочел еще раз и снова подумал, как легко, просто и полно, душевно написано. Ничего лишнего! А каким уважением, любовью проникнуты слова к людям подвига... Спасение челюскинцев буквально всех волновало и радовало, когда наши мужественные летчики их спасали и спасли.

И обо всем этом на страницах «Правды» художественно, правдиво и трогательно рассказал М. Е. Кольцов. Забыть нельзя!

Что вам известно о его дальнейшей судьбе?

Извините за беспокойство.

С уважением

18 марта 1972 г.

Н. Л. ИВАНОВ

Нетрудно увидеть, что доброе, человеческое и очень простодушно написанное письмо Николая Лукича, проникнутое истинной теплотой читательского отношения к «любимому и популярному автору», не дало все-таки ответа на главный, интересовавший меня вопрос: был ли то в Куйбышеве действительно мой брат? Тайна осталась тайной.

А теперь перенесемся в далекий 1954 год.

В трескучий декабрьский мороз я вышел из здания Главной военной прокуратуры на улице Кирова. В кармане у меня лежала бумага следующего содержания.

Гр-ну ЕФИМОВУ Б. Е.

Сообщаю, что 18 декабря 1954 года Военная коллегия Верховного суда СССР по заключению Прокуратуры СССР приговор по делу Вашего брата КОЛЬЦОВА Михаила Ефимовича отменила и дело в отношении его прекращено за отсутствием состава преступления.

За официальной справкой о прекращении дела в отношении КОЛЬЦОВА М. Е. Вам надлежит обратиться в Военную коллегия Верховного суда СССР.

ЗАМ. ГЛАВНОГО ВОЕННОГО  
ПРОКУРОРА ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ  
Д. ТЕРЕХОВ

Это может показаться неправдоподобным, но, получая эту бумагу, я не спускал глаз с двери в глубине просторного прокурорского кабинета, почти убежденный в том, что меня ждет радостный сюрприз, что сейчас эта дверь откроется и из нее выйдет уже переведенный из дальнего лагеря в Москву брат... Однако этого не произошло. Тогда, взяв из рук прокурора бумагу и немного помедлив, я обратился к нему:

— Товарищ Аракчеев! У нас с вами было несколько бесед в процессе ознакомления с делом Кольцова. Я ответил вам на ряд вопросов. Теперь разрешите и мне задать вам один вопрос.

— Пожалуйста.

— А где сейчас находится мой брат?

Прокурор посмотрел куда-то в сторону и ответил:

— А это вам сообщат там, где вы будете получать официальную справку о реабилитации, — в Военной коллегии.

«Видимо, таков порядок», — подумал я, поблагодарил и поднялся с места.

И вот через четырнадцать лет я снова в кабинете председателя Военной коллегии Верховного суда СССР. Но розоволицего Василия Васи-

льевича, который рекомендовал мне «поскорее все забыть», здесь уже нет. Генерал-лейтенант юстиции А. А. Чепцов любезно мне говорит:

— Собственно говоря, у вас не было необходимости специально сюда приходить — этот документ мы могли переслать вам по домашнему адресу. Но, поскольку вы уже здесь... Что я могу сказать? Вашего брата пытались изобразить агентом чуть ли не пяти иностранных разведок. Лица, которые фальсифицировали его дело, как и многие другие, находятся в настоящее время под судом и понесут суровое наказание. Кстати сказать, дело вашего брата находится сейчас здесь. И, если хотите на него взглянуть, можете это сделать. Подробно читать его, сами понимаете, никак не положено.

— Хочу взглянуть,— сказал я.

Генерал нажал кнопку звонка, дал указание вошедшему помощнику, и через несколько минут на стол легли две толстенные папки, перевязанные шпагатом. Я смотрел на них с ужасом. Потом раскрыл верхнюю папку и сразу увидел ордер на арест. Он был почему-то напечатан не типографским способом, а на пишущей машинке. И почему-то не внизу, где обычно подписываются бумаги, а по диагонали через весь лист тонким кроваво-красным карандашом была поставлена подпись: Берия.

Дальше я увидел в папке много-много страниц, мелко исписанных легким, изящным, до боли знакомым почерком брата. Читать я, согласно предупреждению, не стал, закрыл папку и молча, выжидаяще посмотрел на председателя Военной коллегии. Он протянул мне документ о реабилитации. Мы обменялись рукопожатиями.

После маленькой паузы он заговорил:

— Ну... А что касается... К великому сожалению... Вы сами понимаете...

У меня вдруг сжалось сердце.

— А что, товарищ генерал? Что я должен понимать? Я ничего не понимаю.

— Ну... Должен вам сообщить... Одним словом... Вашего брата нет в живых. С тридцать девятого года.

Некоторое время я не мог вымолвить ни слова. Я молча смотрел на Чепцова, а он на меня. В эти секунды в моей голове с какой-то непостижимой быстротой пронеслись все доходившие до меня за минувшие годы вести о Кольцове. С особой четкостью всплыл в памяти рассказ художника Храпковского о встрече с братом. Я спросил тогда Храпковского: «А как выглядел Михаил Ефимыч? Во что был одет?» Храпковский ответил: «О чем вы говорите?.. Во что одет... В помещении, где мы находились — какой-то барак,— была дикая жара, духота невыносимая, битком набито людьми. Все обливались потом, грязные, полуголые... Миха-

ил Ефимыч сказал мне: «Если увидите Борю, передайте... Передайте, что, вот, встретили меня. Что я жив. Держусь. Может, еще увидимся. Хотя... все может быть...»

«Что же,— вертелось у меня в голове,— Храпковский все это выдумал? Зачем? А это был, по его словам, июль сорок второго года. Шла война. При чем же тут тридцать девятый год? И зачем бы понадобилось так спешно расстрелять только что отличившегося «дона Мигеля», которого, как сказал тогда К. Е. Ворошилов, «ценят, любят, доверяют»? Инсценировать вплоть до февраля сорокового года прием денежных передач в «Помещении № 1»? Зачем? Чтобы обмануть меня? Зачем? Нет, тут что-то не так».

Наконец я, как принято говорить, обрел дар речи.

— Нет, товарищ генерал, этого не может быть,— произнес я.

— Почему?

— Да прежде всего потому, что все эти годы о нем много раз доносили вести. Из разных мест, из лагерей. Его видели, с ним говорили.

— Видите ли,— мягко сказал Чепцов,— мы иногда принимаем желаемое за действительное. Вот недавно была у меня жена Косарева. Ей тоже говорили, что он жив, работает. Где-то на шахте. А между тем...

— Все это так, товарищ генерал, но все же... В тридцать девятом... Да ведь суд-то над ним состоялся в сороковом! И приговор был: десять лет лагеря.

— А кто это вам сказал?

— Ваш, так сказать, предшественник. Ульрих.

— Ах, Ульрих,— сказал генерал с непередаваемой интонацией и махнул рукой.

...Исключительно жарким выдался в столице двадцать восьмой день июня 1972 года. Старожилы, как это им и положено, не запомнили такого зноя за много лет. Все живое стремилось на теневую сторону улиц и площадей. Тем не менее большое количество людей собралось под палящим солнцем, на раскаленном асфальте возле дома № 11 по Страстному бульвару. В этом красивом зеленом особняке с прилегающим садиком много лет находилась редакция журнала «Огонек», основателем и первым редактором которого был Михаил Кольцов. Там же располагались редакции журналов «За рубежом», «За рулем», «Советская женщина», «Советское фото», многих других популярных изданий большого «Журнально-газетного объединения (ЖУРГАЗа)», также организованно и вплоть до 1938 года руководимого Кольцовым.

Органы регулирования уличного движения не сочли целесообразным перекрыть движение транспорта на столь оживленной трассе, но автомобили и троллейбусы, тихо сигнала, замедляли ход, осторожно проезжая мимо бывшего «ЖУРГАЗа».

Люди пришли сюда, откликнувшись на следующее приглашение:

Уважаемый товарищ!

Приглашаем Вас принять участие в торжественном открытии мемориальной доски в память советского журналиста и писателя Михаила Ефимовича КОЛЬЦОВА.

Правление Московской организации  
Союза журналистов СССР  
Правление Московской писательской  
организации СП РСФСР  
Главное управление культуры  
Исполкома Моссовета

Перед микрофоном выступали писатели, журналисты, военные, общественные деятели. В заключение слово было предоставлено члену комиссии Союза писателей СССР по литературному наследию Михаила Кольцова. Это был я.

— Литературное наследие Кольцова,— сказал я,— это огромное, практически неисчислимое количество очерков, фельетонов, корреспонденций, статей, выступлений, в которых во всем своем величии встает эпоха становления и утверждения советского строя начиная с октября семнадцатого года. Неповторимая летопись жизни, борьбы и труда советского народа, его радостей и печалей, испытаний и подвигов.

Последней страницей творческой биографии Кольцова стала книга «Испанский дневник», правдиво и ярко рассказавшая о первом военном столкновении с фашизмом, прелюдии к Великой Отечественной войне, в которой Кольцову не суждено было принять участие. Кольцов, как вы знаете, был не только талантливым писателем, но и неутомимым общественным деятелем, энергичным организатором, активным политическим и дипломатическим работником. Он все делал быстро, увлеченно, весело, не зная отдыха, не теряя ни минуты, как будто чувствуя, что ему отмерен судьбой очень короткий срок жизни.

Тридцать четыре года назад Михаил Кольцов навсегда ушел из этого дома сорокалетним. Сегодня по воле партии, по решению Московского Совета он навсегда возвращается сюда в граните мемориальной доски.



Борис Ефимович ЕФИМОВ

СУДЬБА ЖУРНАЛИСТА

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Л. С. Алексеева

---

Сдано в набор 21.06.88. Подписано к печати 08.08.88. А 10389.  
Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28. Учетно-изд. л.  
3,27. Тираж 150000 экз. Зак. № 2638. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.